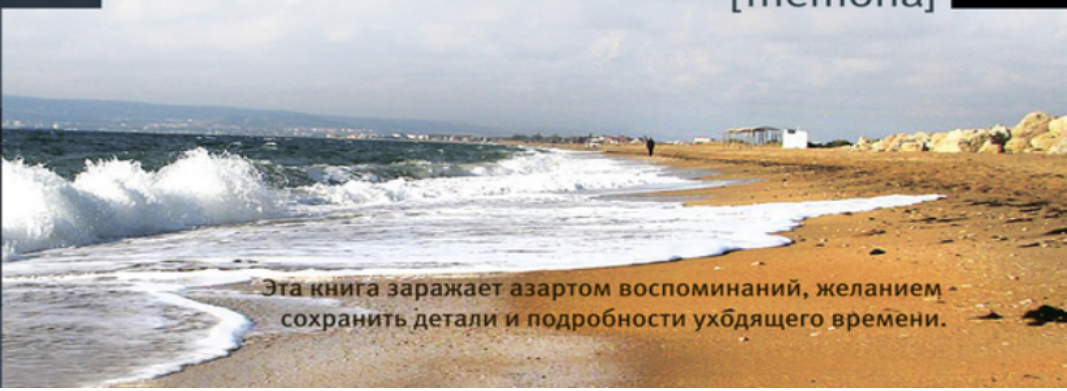
Александра Коротаева

Наша счастливая треклятая жизнь

[memoria]

CoRpvS



Эта книга заражает азартом воспоминаний, желанием сохранить детали и подробности ухбдящего времени.

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Повесть Александры Коротаевой «Наша счастливая треклятая жизнь» основана на подлинных событиях. Это очень смешные и очень горькие, забавные и пронзительно откровенные истории, рассказывающие о детстве автора, которое проходило сначала на берегу Черного моря, в Крыму, а затем — волей судьбы и немилосердных обстоятельств — в столице Сибири — Новосибирске. Время действия — 60–70-е годы минувшего века. Одним та эпоха покажется не такой уж и далекой (но ведь давно замечено, что каждый помнит свое и по-своему и что азарт чужих воспоминаний заражает нас, почти магическим образом запуская механизм нашей собственной памяти). А для кого-то она — неведомый мир, странный, а часто и до неправдоподобия абсурдный. Однако из прошлого в этой книге протянуты прочные нити в настоящее: из нее мы многое узнаем о «взрослой» жизни героини повести и о нашем сегодняшнем времени.

Александра Коротаева закончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина, курс Народного артиста СССР М. И. Царева. Повесть «Наша счастливая треклятая жизнь» — ее литературный дебют.

- Александра Коротаева
  -
  - Я пришла к вам. Вы рады мне?
  - Родилась я
  - Ясли
  - Люлька
  - Смерть папы
  - Похороны
  - Крещение
  - У Марфуши
  - Копия
  - Первый снег
  - Я — танк
  - Шея
  - Игрушки
  - Зонтики
  - Новый год
  - Лисичка
  - Обман
  - Земля
  - Корыто

- Радость
- Копчик
- Аннушка
- Тюк
- Асфиксия
- Балка
- Карусель
- Домашние игры
- Нанка
- Улица
- Театр
- Наши
- Семечки
- Весна
- Воздух
- Гуси
- Яблоки
- Уксус
- Утро
- Первое сентября
- Правда жизни
- Мопассан
- «Горный»
- Шмакатурша
- Коса
- Горба
- Рыба
- Дельфин
- Деревья
- «Русский лес»
- Сараи
- Топор
- Нож
- Варвары
- Любовь
- Градусник
- Море
- Курортники
- Огонь
- Вода
- Баня
- Гомнюки
- Смотрите и запоминайте
- Октябрь 1972 года

- ○ Уборщица
- ○ Съемки
- ○ Сало
- ○ Первая зима
- ○ Способные дети
- ○ Морсад
- ○ История маминой семьи
- ○ Ништяк
- ○ Домино
- ○ Песни
- ○ Счастливый мусорщик
- ○ Цветок
- ○ Сказка
- ○ Набережная
- ○ Хляби небесные
- ○ Зимнее небо
- ○ Мост
- ○ Волк
- ○ Небесные игры
- ○ Счастье
- ○ Болезнь мамы
- ○ Недоразумение
- ○ Бойцы
- ○ Последняя гастроль
- ○ Подарки
- ○ Еще раз про любовь
- ○ Парад 9 Мая
- ○ Свобода
- ○ Погранка
- ○ Русалочье счастье
- ○ Запахи
- ○ Ткани
- ○ Пепел роз
- ○ Апельсин
- ○ Трубочка с кремом
- ○ Конфеты
- ○ Телик
- ○ Почти взрослая жизнь
- ○ «Берлин»
- ○ «Немного солнца в холодной воде»
- ○ Айвазовский
- ○ Море волнуется, раз!
- ○ Фото

Александра Коротаева
Наша счастливая треклятая жизнь

Памяти нашей мамы

Я иду в Ботанический сад. Сорок минут — и я в Ботаническом. Я ни о чем не думаю. Я просто передвигаю ноги. Иду достаточно быстро, чтобы взбодриться и не замерзнуть. На асфальте осенние листья, лужи. Кое-где еще не умершая трава из последних сил цепляется за жизнь. Над головой серые свинцовые тучи, и сыплет мелкий застенчивый дождь. Открываю зонт, иначе промокну. По пути прямо у лап нашей знаменитой телевизионной башни Останкинское кладбище, о котором почти никто не знает. Там лежат родственники — отец моей дочери и его родители.

В цветочном магазине, который всегда открыт и всегда весел, невзирая на довольно печальное соседство, покупаю самые дешевые маленькие розы трех оттенков (всем разные) и прохожу к могилам. Три деревянных креста. Все рядом. Три разных человека, а кресты одинаковые, правда, свекру достался самый лучший. Его делал мой муж, с которым мы уже не живем вместе, но еще не развелись. Убираю упавшие на могилы большие ветки. Ставлю цветы в обрезанные пластмассовые бутылки. Листья будут лежать до весны, я их не трогаю. Смысл? Они прикроют от мороза ландыши, которые расцветут весной. Румяные могильщики будут с радостью рыть жирную землю и вспоминать, какой непробиваемой она была в мороз. Полезет наглая трава, и накануне Пасхи живые проведают мертвых.

Я стою, курю, и нет у меня ни горечи, ни сожаления, ни тоски. Ничего. Я просто стою и курю. Живу. Я чувствую, что я живая среди этого безразличия и пустоты. Гашу сигарету, говорю: «Ну ладно, ребята, вы как хотите, а я пошла. Может, на следующей недельке загляну к вам». И иду дальше. Я давно заметила за собой такую штуку. Вот ты идешь, и тебе кажется, что ты ни о чем не думаешь. Ничего подобного! Думаешь! Еще как думаешь! Даже больше, чем если бы ты занимался каким-то важным делом. Мысли твои живут отдельно от тебя, помимо тебя, а может, и вне тебя. Ну, я не хочу, например, думать о чем-то, а думаю об этом. Я злюсь на себя, пытаюсь сделать усилие над собой, но продолжаю думать о том, о чем думать не хочу. И наоборот. Мне нужно, мне необходимо подумать о чем-то, додумать эту мысль, но она скачет, не дается, я гоняюсь за ней, она от меня, и так бесконечно. Это у всех так или только у меня?

Перехожу дорогу. Звенит трамвай…

Один близкий человек сказал мне однажды, не для того чтобы обидеть, а так, к слову пришлось: «Неудачница!» Неожиданно больно кольнуло. Я — неудачница! Никогда себя не считала ею, а сейчас задумалась. А может, и правда?

В моей жизни действительно не все складывалось удачно, но из тяжелых ситуаций я всегда выползала. Пусть непросто, со скрипом, с потерями, но, не утратив, как мне кажется, собственного достоинства. Я могла бы сделать свою жизнь легче, но я бессознательно, а иногда и сознательно, уходила — слишком большой была цена той легкости. Я стала бы другой, а другой я себе не нужна. Я делала свой выбор.

Где мерило, по которому можно судить жизнь неудачника или «удачника»? Что должно свершиться в жизни человека, чтобы можно было про него сказать, что он удачно прожил или проживает свою жизнь? Реализация заложенного в нем таланта? Карьера? Дом? Семья? Деньги? Да, наверное, все мои близкие (и я в том числе) — неудачники. У каждого не состоялось то, что, казалось, должно было состояться. То есть мы действительно не дотянулись до той волшебной планки, на которой обозначено: «удачник».

У моей дочери была в университете подруга. Она умерла от саркомы, не окончив третьего курса. Умерла в самом начале своего жизненного пути, не успев сделать все то, что полагается человеку. Неужели ее маленькая жизнь была неудачно и зря прожита? Нет. Жизнь исчисляется мгновениями! Вспышками — не достижениями. Их придумали люди. Любовью измеряется жизнь.

Я хоронила близких, теряла друзей, меня предавали. Меня любили. У меня было незабываемое детство. У меня есть Катя, дочь. Рядом со мной люди, которые верят в меня. Моя судьба складывается так, как должна была сложиться.

Сегодня у меня выходной. Завтра — работа. Потом опять два выходных. Два, а иногда три раза в неделю я хожу к одной семейной паре. Супругам по восемьдесят восемь лет. Я покупаю продукты, готовлю обед на три дня, кормлю их, убираю кухню и места общего пользования. Занимает это целый день, к концу которого я прилично устаю, но эти люди стали мне почти родными. Мы целуемся при встрече и прощании, они рассказывают мне о себе, а я смеюсь, потому что у него необыкновенное чувство юмора. Прожили они вместе семьдесят лет. Он — генерал-майор военной разведки, она всегда была рядом с ним или ждала его. Они почти ничего не видят, и я ножом помогаю им найти еду в тарелке. Они с трудом передвигают ноги, но каждое утро я вижу

его выбритым, а ее — в белой блузе с золотым кулоном Козерога, подаренным ей мужем в этом году на день рождения. Под столом она ищет его руку, он ее крепко жмет, и тогда она улыбается. Иногда она подзывает его к себе, чтобы поцеловать, и целует его — скупо, но с тем чувством, на которое мало кто способен из молодых. Когда нужно, чтобы они закрыли за мной дверь, заглядываю к ним в спальню и вижу, как они спят обнявшись…

Я окончила театральный институт в Москве, играла в нескольких театрах, у меня были хорошие роли, а потом уходила и страдала без работы. Говорят, плохой характер. Может быть… Я могу многое из того, чего не могут другие, но я не могу делать то, что многие делают с легкостью. Мне приятнее приходить к старикам.

Я пришла к вам. Вы рады мне?

Весна. Мне года три. В нашем палисаднике идет стройка. Там, где была веранда, — пустое место, ровный квадрат черной земли, а вместо двери в кухню — новая кирпичная стена. Теперь вход в дом с другой стороны.

Я хожу по двору и рассматриваю доски, шифер, кирпичи, ведра с раствором, впервые появившиеся в моем личном пространстве. Я все трогаю, мне все интересно, все нравится. Нравится стук молотка и звук пилы, нравятся веселые рабочие и окурки, плавающие в ведре с водой, нравятся распускающийся липкий куст сирени у забора и кошка, лежащая на куче опилок. Не нравится мне только закрытая калитка нашего палисадника.

Я подхожу к калитке, становлюсь на цыпочки и пытаюсь вытащить из петли тяжелый крючок, держащий меня в пределах нашего двора. Крюк не дается. Я приношу кирпич, встаю на него — так мне удобнее. Вдруг на мою руку садится пчела. Первая в моей жизни! Настоящая! Она тяжело ползет по руке и останавливается на большом пальце. Мы смотрим друг на друга, не шевелясь. Первой не выдерживаю я и глажу ее по яркой спинке. Она выгибает свое красивое тело, и я чувствую горячий укус.

Смахнув ее на землю, я вижу, как она, свернувшись в кольцо, неподвижно лежит в пыли. Палец мой быстро увеличивается в размере и теряет чувствительность. Обидно до слез. Запор не поддается, пчела сдохла, рука становится ватной. Я изо всех сил подпираю снизу плечом крюк и кубарем вываливаюсь на улицу. Какие-то люди стоят, идут, едут на велосипедах, сидят в колясочках. А я самостоятельно выхожу на улицу! К ним! Вот она я! Я пришла к вам! Вы рады мне?

Сорок лет назад мы жили в Феодосии. С рождения и до двенадцати лет я прожила в этом городе. Хочу я или не хочу, но мысли мои то и дело возвращаются туда, переплетаются с другими, прорастают в них и неплохо себя там чувствуют. Не помню, кто сказал, что воспоминания — рай, из которого нас никто не может изгнать. Это так.

Родилась я
Рассказ моей сестры Нанки, которая старше меня на три года

Я сидела на кухне за столом, ела яйцо всмятку и пила кисель из папиной большой кружки, той, которая сейчас у тебя. Рядом на диване сидела бабушка, папина мама, и говорила, что теперь мне надо хорошо есть, потому что я старшая, а значит, большая. Помню, в тот момент она была очень красивая и вся светилась от радости. Открылась дверь, пахнуло холодом с веранды, и вошли мама с папой. У папы в руках было что-то завернутое в желтое одеяло. Бабушка сразу встала, забрала сверток и стала туда заглядывать. Потом спросила меня, хочу ли я подержать свою сестренку. Я обхватила тебя руками, а бабушка снизу поддерживала. Ты мне так понравилась! Такая хорошенькая! Тихо себе спала. Ты вообще была очень тихая. Не помню, чтобы ты плакала.

Потом тебя положили на большую кровать, и папа не отрываясь долго смотрел на тебя, так и не сняв пальто. У него была кепка и серое пальто в елочку, а внизу свитер крупной вязки, водолазный, помнишь его? А на маме — синее мягкое пальто с большими пуговицами и желтый платочек в клетку, она его потом повязывала, когда ходила в сарай рубить дрова. Помню, что в тот день было очень тихо в доме и все были такие радостные, улыбались и говорили шепотом. Потом в папину кепку положили бумажки и тянули их наугад. Вытащили бумажку, где было написано «Александра». Бабушка была счастлива, что тебя назвали ее именем, а папа сказал: «Сашулька, значит». Папа-то хотел мальчика, а мама вообще не хотела больше рожать — боялась (папа ведь пил уже), но он уговорил ее, слово дал, что бросит.

Он тебя безумно любил, с рук не спускал, подолгу смотрел, как ты спишь.

Ясли

Мне года два. Моя рука вытянута во всю длину вверх, когда я держусь за мамину руку. На мне желтое пальто — потом, позже, когда я подрасту, я буду надевать его на свою куклу.

Мы с мамой вошли в ворота и оказались в довольно широком дворе. Кучками стояли дети. Они не бегали и не кричали, а просто молча стояли. Мы подошли к большой тете в белом халате, которая держала под грудью белую эмалированную кастрюлю. Помню, как она улыбнулась и протянула мне морковку. Я взяла, и она прижала меня лицом к своей слоновьей ноге. Я поняла, что мама сейчас хочет уйти и я должна дать ей это сделать. Помню чувство неизбежности и покорности. И морковку, которую можно было не взять и тогда здесь не остаться. Но я ее взяла, и мама ушла.

Однажды утром нас повели к морю. Мы шли, держась за веревку, и это было весело. Раньше я никогда так не ходила. Две воспитательницы сняли халаты и в лифчиках и трусах вошли по колено в море. Нянечка осталась на берегу и стала нас раздевать. Голого ребенка передавала на руки воспитательницам, и те окунали его в воду. Почти все дети плакали. С ужасом я тихо ждала своей очереди. Помню стыд от своей наготы и бесконечное чувство сиротливости. А с набережной на нас смотрели прохожие и смеялись. После купания — ощущение братства с обесчещенными и обездоленными.

Про ясли больше ничего не помню, кроме того, что нас часто брали на руки, особенно во время прогулок.

Люлька

У меня была высокая железная кроватка с веревочной сеткой. Звалась она люлькой. Я стояла в ней, держась за перекладины, и мне все оттуда было хорошо видно: печку с открытым ртом, уставший диван с круглыми валиками, покрытый клеенкой стол с ящиками, круглые ручки которых смотрели на нас удивленными глазами. А за маленьким столиком на маленьком стульчике сидит Нанка и рисует. У нее большой альбом с тонкой желтой бумагой, а в руке карандаш. Не отрывая карандаша, она быстро-быстро чертит круги по всему листу, пририсовывает две палки внизу и говорит: «Это мама!» Переворачивает лист и опять быстро-быстро — на весь лист круги: «Это я!», переворачивает: «Это Сашулька». Мама смотрит в альбом и говорит: «Да, похоже». А я не верю. Мне все видно из люльки!

Однажды ночью я встала в люльке, позвала маму и показала ей на потолок: «Там на меня кошка смотрит!» Мама включила свет, и сразу все пропало. Никакой кошки! Выключили свет, мама ушла в другую комнату, а я опять вижу на потолке окно в небо, и в этом окне — кошка! Сидит и смотрит на меня! Я знаю, что нельзя звать маму, мама спит, но кошка меня стережет. «Мама!» Приходит мама, мы не включаем свет, я показываю ей кошку, но мама ее не видит!!! Она берет меня на руки, и мы идем спать в ее постель. «Мама плохо видит», — думаю я.

Днем, когда маме нужно было идти на работу, она меня укладывала спать. Давала в постель моего маленького любимого серого мишку Миньку и обещала: «Когда ты проснешься, я уже буду дома». Я понимала: мамы дома нет — нужно спать. Иногда я просыпалась раньше и, обнаружив отсутствие мамы, бубнила себе под нос: «Мамы дома нет — нужно спать». А мама, когда приходила, сразу щупала мои штаны и весело спрашивала: «Сухо?» И хохотала: «По самое ухо!» Я не понимала, почему ей смешно, но улыбалась, чтоб ей было хорошо.

Когда я немного подросла, я ей рассказывала сказку про Пыха. Она брала меня к себе в постель, и мы с ней лежали обнявшись. Я смотрела на ковер, который висел над маминой кроватью, и шептала ей в подмышку: «Бабка с дедом тянут репку, и вдруг кто-то: „Пых-пых-пых“. Они испугались, побежали, а это был Пых, который им помогал репку тянуть! Они вытянули репку и положили ее в чубуночек…» «Куда?» — спрашивает мама, сдерживая смех. «В чубуночек», — говорю я и думаю: чего ж тут смешного? А она опять: «Как Пых делает? Я забыла». «Пых-пых-пых!» — стараюсь я изо всех сил. «У тебя очень хорошо

получается, я, как ты, не могу, вернее, не могу, как Пых». «Бедная, — думаю я, — не умеешь таких простых вещей!» Я учу ее, стараюсь, а рисунок на ковре начинает расплываться, появляются откуда-то собаки, причудливые звери, леса, и мы с мамой засыпаем счастливые, что мы есть друг у друга.

Прохожу Шереметьевский дворец. Храм отреставрировали, и он теперь такой умытый, такой ясный. Десять лет назад от него пахло несвежим старичком, а теперь блестит, как елочная игрушка. Тогда здесь отпевали Сашу, Катькиного отца. Саша умер в сорок лет. Мой отец — в тридцать семь. Мне не было двух, когда он повесился, Нанке — пяти. Давай, расскажи мне про него. Я опять хочу говорить о нем!

И Надя в сотый раз рассказывает мне то, что помнит и чего не могу знать и помнить я.

Смерть папы
Рассказ Нанки

Я уже спала. Папа разбудил меня — сел на край моей кроватки в трусах и майке и шепотом попросил: «Надя, обещай мне слушаться маму и любить Сашульку. Обещай». Я пообещала. Он поцеловал меня, и я его тоже поцеловала. В лоб. А он сказал, улыбаясь, что в лоб я его буду целовать, когда он будет лежать в гробу, а сейчас — в щеку. Я поцеловала еще раз, в щеку. Он укрыл меня, и я заснула.

Проснулась от криков. На кухне горел свет, и было много народу. Я протиснулась между взрослыми. На диване лежал папа в трусах и майке. Сначала я подумала, что его целуют, но потом поняла, что ему дуют в рот. Его поворачивали, трогали за лицо. Мама сильно кричала и бросалась к папе, ее удерживали. У меня не было никаких эмоций. Просто хотелось спать, а мне мешали. Я подошла к своей кровати, вынула из-под нее горшок, села на него и, пока сидела, смотрела в освещенную кухню. Представь: в комнате темно, я на горшке, из кухни — дорожка света через всю комнату прямо ко мне. Как в кино. Интересно можно было бы снять это… Тебя не помню. Ты, наверное, не проснулась.

Похороны
Рассказ Нанки

Я была в детском саду, когда за мной пришел дядя Валя. Наверное, меня отвели в сад, чтобы я меньше видела маму, а может, меня на «круглосутку» оставили. Наверное, это был уже третий день после смерти папы. На третий ведь хоронят? Помню, со стороны воспитателей и нянечек было какое-то повышенное внимание ко мне. Что бы я ни делала, я чувствовала их взгляды на себе, какую-то доброту непривычную. Когда пришел дядя Валя, я очень обрадовалась ему. Мы обнялись, поцеловались, но я почувствовала его скованность, а в дверях на нас смотрели нянечки и всхлипывали. Мне стало неудобно, неуютно, я опустила глаза вниз и как будто впервые увидела свои ботинки: синие такие ботиночки с облупленными, почти белыми носами. И так мне себя жалко стало, так жалко… Стою перед дядей Валей, он большой такой, а я маленькая, и эти белые сиротские носы…

Домой мы ехали в машине. В грузовике, что ли?.. Дядя Валя из Симферополя приехал на нем, он тогда шофером на больших машинах работал. Еду я в кабине с ним. Казалось бы, для ребенка радость ехать в машине, а мы едем и молчим. Он молчит, и я молчу. Молча едем, как два истукана. Подъехали к дому. Выходим, а около дома людей полно, и так красиво: все в цветах, в венках!

Вошли в дом, дома — тоже люди. Много людей. Посередине комнаты стоит ящик на табуретках, вокруг ящика сидят мама в черном платке, тетя Лида, тетя Юля и папина двоюродная сестра, не помню, как ее звали. Забыла. Оля, что ли? Я тогда первый раз увидела гроб. Подошла и смотрю на папу. На нем синий костюм, который мама ему незадолго до смерти купила, ноги прикрыты белым покрывалом, а сверху — цветы. Я подошла и говорю: «Мама, а почему папа днем спит?» Ну, тут у всех слезы, понятно. Я на улицу вышла и принялась считать венки. Семнадцать венков насчитала, я ведь уже умела считать. Думала: как же у нас стало красиво в палисаднике! Помнишь слепого старого Андрея, толстого такого, у него еще был пес Тюсик? Тогда этот Андрей был еще довольно молодой и, знаешь, даже красивый… Так вот, он стоял в нашем дворе, рыдал и повторял заикаясь: «Толик, зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал, Толик?» Думала: странный какой — папа в комнате, а он с ним здесь разговаривает.

А бабушка с дедушкой из Оренбурга на похороны не

приехали. У бабушки давление, а дедушка старенький, он ведь на тридцать лет был ее старше. Мама обижалась потом на них, говорила, что, кроме друг друга, они никого не любили. Ну, это правда, согласись: на похороны своего единственного сына не приехать!

Помнишь, у нас был ковер, цветастый такой? Не помнишь? Ну ладно. Так вот, его постелили в грузовик и крышку от гроба на него положили. А гроб несли через весь город на руках. Можешь себе представить, сколько это километров! Когда проходили мимо дома бабы Фроси — у нее собаки же всегда были, ты помнишь, — две из них устроили брачную игру прямо на наших глазах. А я говорю взрослым: «Не плачьте! Посмотрите, как собачки играют! Мама, ну посмотри же, как они хорошо катают друг друга!» И смех и грех! Представь! Бегут рядом с нами и трахаются! Феллини! Интересно, да? Трагедия и комедия рядом, как правило. А тебя кто-то нес на руках. Не помню. Может, дядя Валя? Тетя Лида с мамой шла.

Около порта к нам присоединилась целая толпа народу и портовый оркестр. На улице музыканты не играли — мама запретила, а на кладбище играли. Шопена, как водится, а потом цыганочку сбацали — ты знаешь, папа так хотел. Когда надо было кидать землю в могилу, дядя Валя моей рукой сгреб немного земли и кинул. Этот звук земли о крышку гроба… Меня как прорвало. Стала плакать громко, как я умею. Мама упала. Ее не могли оттащить от могилы. Держалась за нее, как вросла. Кричала все: «Толя! Толя!» Как будто он ей ответить мог. А потом тише, хрипела только.

Обратно ехали в грузовой машине, за борта держались. Почему в грузовой? Странно… были же какие-то автобусы, катафалки, странно…

А дома столько всего было уже наготовлено. Баба Ира этим заправляла. Не одна, конечно, женщины ей помогали, соседки. Маму положили на папин диван. Почему-то у нее в руках папины письма оказались. Он же из командировок ей каждый день открытки писал: «Здравствуй, моя любимая женушка, мой Симок!» Так вот, она держит в руке папину открытку, а рядом тетя Лида сидит. Мама говорит: «Почитай мне, Лида, Толины открытки. Я ничего не вижу». Тетя Лида: «Как не видишь? Сима, читай!» А мама: «Я ничего не вижу».

Потом приехала «скорая», и маму увезли. В Симферополь, в глазную клинику, как ты знаешь. А с нами осталась тетя Лида. Потом она уехала, а к нам с тобой выписали ее тетку из Симферополя. Да, она ей тетка была. Такая хорошая, добрая такая старушка. Мура ее звали, кажется. Молчаливая только

очень. Все пекла нам какие-то булочки. Мы с тобой даже прибавили в весе к маминому возвращению. Мама, помню, вернулась худая и… смирившаяся, что ли?

А я все ждала, что папа вернется. Не мог он так уйти навсегда. Думала, что это такая игра: проснусь — и он дома.

Крещение

Спустя полгода после смерти отца нас с Нанкой крестили. Мама была неверующей, инициатива принадлежала ее подруге тете Дусе — она и стала нашей крестной. А маме было все равно.

В церкви было почти темно, и мы держались за руки. Мама куда-то делась, а может быть, и вообще не входила. Рядом — черные чужие беззубые бабки, но мы их не боялись. В огромном пространстве хотелось бегать, но нас быстро отлавливали за шиворот и придерживали. Помню много света около деревянного круглого корыта, у которого было золотое дно. Как Надю крестили, не помню, а со мной все так быстро произошло, что я осталась недовольна (хотелось как следует поплескаться). Ложку кагора помню. Понравился. Дали конфеты и пряники. Конфеты мы сразу съели, а пряники оказались твердыми и невкусными. Выходя, мы их кинули за огромную тяжелую дверь. Нас стали ругать, и маме было стыдно за нас. Желтые пластмассовые крестики, которые нам дали, были легкими и скучными. Мы их никогда не носили, и они куда-то делись.

У Марфуши

Марфуша — слащавая, маленькая, бойкая и сухонькая старушка, которая договаривалась в церкви о крещении. Мы с мамой пришли к ней в гости. Помню, мама идти не хотела, но пошла. Мы сидели на маленькой кухне и пили чай с черным вареньем. Потом Марфуша повела нас с Надей в комнату и строго велела креститься на картинки и свечки. Когда она вышла, мы почему-то сразу стали кривляться перед образами, строить рожи, а потом долго всматривались в лики.

Почему отец выбрал петлю? Азартные феодосийцы предпочитали мол: сигали с него с какой-нибудь грузкой, и все дела. Как вообще выбирается способ самоубийства? Выбирает его человек, или это получается спонтанно, по настроению, как фишка ляжет? Можно было снотворного побольше глотнуть. А что? Заснул, и все. Чисто, интеллигентно, красиво. Без шума и пыли. Или это бабский способ, для Лили Брик? Броситься с высоты — тоже не вариант. Феодосия почти вся одноэтажная, пока найдешь что-то приличное, забудешь, зачем искал. Хотя в порту — грузовые краны. Но, видно, отец пощадил маму, не стал прощальную гастроль при всем народе устраивать. А пистолетика не было. У дяди Вали, маминого брата, был — из Берлина привез — маленький дамский вальтер, но потом он его выбросил. От греха подальше.

Наш отец понимал, что попал «в штопор» и у него не хватает воли справиться с собой. Своим уходом он попытался отстоять нашу будущую жизнь. Ушел, пока было кому идти за гробом, кому плакать. Его любили.

Красавец есенинского пошиба, воевал на Черном море (Севастополь, Новороссийск, Керчь, Феодосия) и в двадцать три года вернулся без единой царапины, побрякивая медалями. До войны учился в художественной школе при галерее Айвазовского у Богаевского и Барсамова. Рисовал тушью (пером) и акварелью. После войны окончил ветеринарный техникум, немного поработав, увлекся керамикой. Потом вдруг решил попробовать романтики и рванул вместе с дядей Валей в тайгу, в Верхний Беличан, золото мыть. Терялся в тайге, вышел, выжил. Не знаю, чего он там намыл, но чифирить научился неплохо. Вернулся в Феодосию, окончил курсы водолазов и стал поднимать затонувшие после войны корабли.

Энергии — вагон и маленькая тележка. На гитаре не просто играл, а еще развлекал собутыльников тем, что, положив ее на

спину или уперев в пол, одновременно играл переборами и бил чечетку! Цирк! Любую вещь мог играть с лету — абсолютный слух. Пел. Сам сочинял. Показывал маме пародии на своих друзей и сослуживцев так, что мама падала со стула от хохота, а он ей говорил: «Тише, соседи подумают, что я с тобой что-то делаю».

Он любил жизнь. Любил риск, кураж, внимание, которое вокруг себя собирал. На самом верху Генуэзской башни Константина стоял на руках, приводя в ужас прохожих. Нырял с фонарей на пирсе. В порту, где тогда работал, отжимался на верхотуре грузового крана. «Сима, беги! Толя в порту опять цирк устраивает!» — кричали маме, и мама бежала.

За пьянку с начальника объекта опускался до грузчика, потом опять восстанавливали. Незаменим был. Его называли «моторный». Все, к чему он прикасался, делал быстро и наилучшим образом. Саночки нам с Нанкой смастерил с резной спинкой. Ни у кого таких не было, все только языками цокали. А какие бурки Нанке стачал — войлочные, с кожей! Произведение искусства! Я их тоже потом носила. Мама вспоминала, как однажды он сказал: «Я никогда не думал, что семья — это так здорово!» Любил любую домашнюю работу — «Сима, сиди, я сам» — и мыл нам попы, варил каши, драил полы, стирал пеленки. Учил маму пеленать нас. Правда, она так и не научилась, у нее мы всегда были похожи на капусту (пеленки расхристаны в разные стороны), а у папы — аккуратные чурочки. Сшил маме фартук на старом «Зингере» — не фартук, а загляденье! Мебель делал без единого гвоздя! Сам ее конструировал. Спустя тридцать лет на его табуретке стоял мамин гроб.

Мама страдала от его неспособности сопротивляться алкоголю. Они ссорились, он обижался, несколько раз уходил. Делал это демонстративно, белым днем, когда можно было поздороваться с соседями. Чемодан в руку, кепку набок, в зубы папиросу — и пошел прогулочной моряцкой походкой, никем не понятый, ночевать к своей тетке. Мама не останавливала, знала, что через два дня ночью, как тать, он постучится в окно и скажет: «Симок, пусти! Поверь, в последний раз. — И, переступив порог: — Видишь ли, Сима, ты должна понимать, что так, как у нас было, уже быть не может». И они начинали хохотать.

Мама боролась с его пьянством как могла. Однажды она просидела целый день у двери главного врача наркологической больницы, ожидая направления на папино лечение. Вечером, запирая кабинет, тот ужаснулся, увидев ее: «Я же вам еще утром сказал, что мест нет!» Мама: «А я вам еще утром сказала, что никуда отсюда не уйду, пока его не возьмете. У меня нет выхода: у меня

маленькие дети, и я его люблю».

Она была счастлива с ним. С ним было легко и весело. Когда не пил.

Один раз мы шли по улице Горького — мама несла меня на руках, а Нанка бежала вприпрыжку рядом, курлыкая какую-то считалочку. И вдруг, вскрикнув, остановилась как вкопанная. Около двери магазина «Под часами» стояли какие-то мужчины. Один, в серой кепке, сидел на корточках и что-то рассказывал, другие умирали со смеху. Нанка подошла к рассказчику сзади и прыгнула на спину. Она держала его за шею и кричала: «Папочка, я знала, что ты выкопаешься!» Мужчина растерялся, пытался ее оторвать, а она все лезла к нему и кричала. В ее памяти остался образ отца — кепка, смех…

Копия

Железная дорога проходила вдоль набережной, около детского сада, а рядом, в маленьком домике, сидела тетя Юля. Она была стрелочница, встречала и провожала поезда флажками. Гуляя по набережной, мы с мамой заходили к ней. Тетя Юля всегда смотрела на меня неотрывно, глаза в глаза. Иногда даже присаживалась на корточки и все повторяла: «Копия, копия!» Смысл слова я не понимала, но знала, что, повернувшись вполоборота и подняв бровь, я обязательно услышу: «Копия Толик!» Все это я проделывала, и тетя Юля начинала плакать. Мама, наоборот, как-то сразу теряла всякий интерес и отворачивалась. Подходя к дому, я вдруг обнаруживала в кармане бумажку и отдавала ее маме. Мама сердилась, но клала ее в кошелек.

Первый снег

Утро. Как-то необыкновенно светло в доме. Надя кричит: «Снег выпал!» Мы садимся на подоконник и смотрим в окно. Все белое! Дома, деревья, виноградник, забор. Мама роется в каком-то мешке и достает незнакомые мне вещи. На меня надевают Надину коричневую кроличью шубу, подпоясывают ее ремнем, а шапка мне велика и закрывает глаза. Мы смеемся, но ведь другой все равно нет. Потом мама идет в сарай и приносит санки. Сначала садится Нанка, потом к ней я, и мама рывками по мокрому снегу катает нас вокруг дома. А шапка все время налезает на глаза…

Я — танк

Зима. Темно. Буран. Все кругом гудит. Ничего не видно. Я крепко держусь за мамину шею, мне холодно, я прячу лицо в мамин пушистый воротник. Мама кричит Наде, чтоб она далеко от нее не отходила, а та в ответ: «Я — танк! Ничего не бойтесь! Я пробью вам дорогу! Я же танк!» Мама кричит. Надя кричит. Трудно идти, а идти надо в гору. Вдруг обнаруживаем, что у меня нет одной галоши! Паника! Потом галошу нашли, потом опять потеряли. Я не понимаю значения слова «танк», но мне делается спокойно.

Придя в промерзший нетопленный дом, мама налила в таз холодной воды и сунула туда мои руки. Я кричала от боли, а мама плакала и все повторяла: «Треклятая жизнь…»

Что за ерунда? На кой ляд постоянно перекрывают проход между Останкинским парком и Ботаническим садом? Мартышкин труд. Все равно завтра опять сломают, потому что здесь — самый удобный маршрут для прогулок. Теперь надо тащиться за тридевять земель, чтобы пройти через официальный вход за деньги. Милые мои, дорогие! Поставьте у этих ворот будку с билетами — и люди будут их покупать. А еще откройте ларек, в котором бы продавались сырые семечки и орехи для живности. Сухари для уток. Все дети потащат своих родителей именно к этому входу, и билеты купят, и белок с птицами накормят!

Сейчас придется лезть через ограду, а она, между прочим, в два человеческих роста с торчащими железными пиками. Подошли два рыболова. С восхищением наблюдают, с какой легкостью я преодолеваю препятствие. Один, прищурившись, глядя на меня снизу: «Какая девушка спортивная! Я за такой через любой забор полезу!» Я улыбаюсь. Эх, дядя, думаю я, мне уж шестой десяток, лет на десять тебя постарше буду. Но приятно, что ни говори!

Шея

Когда мне было года два-три, произошел такой случай. Мы с девочкой стояли на углу нашей улицы, а мимо проходил человек с огромным бревном на плече. Он нес его медленно, с трудом. На конце бревна был острый железный штырь. Когда дядька стал поворачивать за угол, что-то произошло, но что, я не поняла, только почувствовала, что шея моя стала мокрой. Какой-то прохожий схватил меня на руки, и мы очень быстро побежали. Откуда-то появилась мама, охнула, сгребла меня в охапку, и мы опять побежали, еще быстрее. Очень мне понравилось так быстро бегать, но мамино лицо, вымазанное чем-то красным, меня пугало. Помню большую каменную стену, через которую мама со мной перелезала. Потом провал — ничего не помню. А дальше было совсем весело: какие-то мази, от которых мне было щекотно шее, и бинты, в которых мы с мамой всегда путались.

Когда я выросла и смотрела на высокий гладкокаменный забор горбольницы, меня охватывала гордость за свою спортивную маму!

Проходит пара с коляской. Оба вытянули шеи и шипят, как гуси, на своего младенца, который, видно, дал слово не закрывать рта всю прогулку. Коляска дергается, скрипит, родители трясут погремушками, отталкивают друг друга локтями и шепотом матерятся в сторону. Он нервно закуривает сигарету и успокаивается. Она: «Чо ты там идешь? Типа он не виноват! Я тебе два раза сказала: „Соску возьми, блин!“ Идет он! Курит! Накуриться никак не может! Иди, блин, успокаивай теперь его!» Она отбирает у него сигарету и глубоко затягивается. Он хватает коляску и в мгновение ока, как хищник с добычей, скрывается между деревьев. Она идет, машинально потряхивая погремушкой.

Игрушки

Помню свои первые игрушки. Два больших пластмассовых попугая, ярко раскрашенных, с большими клювами… Я их боялась, но, когда начинали трясти ими, они гремели и становились веселыми. Железная божья коровка, красная в черный горох… Нанка заводила ее ключом, и та ездила по полу, громко жужжа… Негр Джек с кудрявой головой и большими розовыми губами… Резиновая уточка с добрыми подведенными глазами… Старая кукла Даша с длинными косами, тряпичным телом и отбитым носом… Но самый любимый — Минька! Серый полотняный мишка с носом из черных ниток. Он всегда спал со мной. До своих девяти-десяти лет помню его всегда рядом с собой.

Когда я стала постарше (три-четыре года), были другие игрушки. Деревянный конструктор! Гладкие, очень яркие, разноцветные и разных форм детали: конусы, цилиндры, ромбы, арки. Мы с Нанкой строили из них дворцы и с наслаждением их разрушали. Очень любили мозаику. Их было у нас несколько. В пластмассовой круглой коробке были разноцветные шарики, как маленькие пуговки, а дно коробки было все в дырочку, и, чтобы сделать узор, надо было шарик закрепить в дырочке. А другая мозаика лежала в большой картонной коробке, и шарики были больше. Если кому-то из нас попадалась в руки коробка, мы поднимали ее высоко над головой и изо всех сил начинали трясти. Это был призыв к игре, всегда принимавшийся с диким восторгом.

Помню железный грузовик, у которого отваливались дверцы, а из кузова всегда кто-то из пассажиров падал на пол, и тогда его приходилось привязывать. Да, был еще Пупс! Большой пластмассовый ребенок с игриво закрученным чубчиком на лбу. Руки и ноги у него болтались на растянутых резинках. Если его закутать в одеяло и взять на руки, то ноги почти доставали до пола. Мама регулярно меняла резинку или завязывала узлом, но Пупс все равно продолжал «расти». Мы его часто купали.

Два мяча у нас было. Один старый, темно-зеленый, а другой — красно-синий с белой полосой посередине. Старый — глухой, а новый — звонкий и наглый. Была детская посуда — чашки, блюдца, тарелки, чайники, сахарницы. Супницы! Все очень изящное, беленькое, фарфоровое, и на каждом предмете рисунок — какие-то букетики. Лежала посуда в отдельной коробке, чтоб не побилась.

А еще, кроме Даши, у нас с Надей были две куклы, строгая

частная собственность каждой из нас. Светлана и Таня. Когда-то их привез папа из командировки. Немецкие куклы необыкновенной красоты! Светлана — моя. С фарфоровой головой и целлулоидными ручками и ножками. Голубые глазки закрывались, а ротик был приоткрыт, и виднелись два фарфоровых зубика. Она была одета как младенец: ползунки, пинеточки, рубашечка, и к ним — одеяло-конверт в кружевах! Нанкина Таня — барышня. Тоже фарфоровая, в голубом платье с белыми кружевами и с настоящими черными кудрями. Вдвое больше моей, она могла стоять. Глаза закрывались большими пушистыми ресницами, и она говорила: «Мама».

У Нади был еще большой желтый мишка. Твердый, с черным кожаным носом, с подвижными лапами, умевший издавать, если его положить, угрожающий рык. Своего Миню я от него прятала.

Куда они все делись? Умерли?

Дождь то моросит, то пропадает, заставляя то открывать, то складывать зонт. Это похоже на игру.

Зонтики

Мама всегда пряталась от солнца под зонтиками и говорила нам, что у женщины лицо должно быть белое, а не черное, как у крестьянки. Каждое утро она пользовалась кремом и легонько, кончиками пальцев, вбивала его в щеки. Этот звук я никогда и нигде больше не слышала. Помню ее баночки с кремом. Любимые кремы — «Березовый» и «Миндальное молочко». «Огуречный лосьон» был всегда. Из косметики — только помада и белая пудра «Ландыш». Губы красила не самой помадой, а мизинцем, вымазанным в помаде, им же делала и легкий румянец, считая, что косметики на лице не должно быть видно. После «наведения красоты» просила нас с Нанкой посмотреть, не видно ли на лице пудру. Мы честно приглядывались.

Зонтиков было два, и оба предназначались для лета. Один — японский, плоский, голубого цвета, расписан попугаями и ветками цветущего дерева; он был легкий и имел круглый полированный деревянный шарик на конце ручки. А другой — фиолетовый, с прочными острыми спицами.

Оба зонтика я часто использовала в своих играх. Мне казалось, что, распластавшись на полу под раскрытым зонтом и медленно передвигаясь ползком, я похожа на черепаху. Мама серьезно спрашивала у Нанки: «Надя, ты не знаешь, откуда у нас в доме появилась черепаха?» По-моему, я еще для большей достоверности издавала какие-то звуки. Когда маме мешала крупногабаритность животного, она тихонько шептала мне: «Только не сломай мне зонт, чертова кукла!»

Другая игра: раскрытый зонт кладется на бок, на него навешивается какая-нибудь кружевная тряпка, а под него укладываются куклы. Там они спали безмятежным сном, пока мама раздраженно не говорила: «А можно теперь я поиграю с моим зонтом?!» Брала его и шла на базар. Еще одна чудесная вещь делалась с раскрытым перевернутым зонтом: положив в него кукол и упираясь им в пол, нужно было вращать ручку. Куклы разлетались, спицы трещали, но карусель выходила веселая! У «японца» оказалась короткая жизнь, а фиолетовый жил долго. Маму пережил.

Новый год

— Сегодня ты не будешь бояться гасить свет.

— Почему?

— Увидишь.

Я подставила табуретку к выключателю, погасила свет и побежала в кровать, но вдруг увидела, что игрушки на нашей елочке, которая стоит на столе, светятся! Мама объяснила: это потому, что они разрисованы фосфором. Конечно, я тут же забыла про пугающую темноту.

Перед Новым годом ходить с мамой за покупками стало веселее. Самая красивая елка была в Военторге. Там перекрывали один из выходов, и в образовавшемся тупике целая отгороженная небольшим заборчиком площадка отводилась под зимнюю сказку. Под почти не наряженной елкой стоял Дед Мороз с посохом, а рядом в окружении зверей — зайца, белки, лисицы и волка — неподвижно сидела Снегурочка в мерцающей диадеме и кормила с рук снегиря. Из-за елки выглядывали рогатые олени. В другом углу стоял небольшой домик, в окне которого уютно горел свет. Кругом было много ваты и блесток, создававших эффект снега.

Однажды, пока мама стояла в очереди, я протиснулась между стеной и загородкой и оказалась в домике. Ничего уютного там не было. На полу стояла лампа, валялись какие-то провода, и даже сесть некуда. А оленьи головы были насажены на высокие палки. Побродив какое-то время по этой волшебной поляне, я заметила, что по другую сторону забора несколько детей с завистью смотрят на меня. Через минуту я уже принимала гостей в домике. «Чьи это дети?!» — спросила какая-то продавщица так громко и неожиданно, что мои гости сразу заплакали. «А мы тут играем», — как можно веселее ответила я. Подбежала мама, схватила меня за руку и стала допытываться, на кой черт я туда полезла. Я не знала, что ответить, и сказала, сделав скорбное лицо: «Вот тебе и Новый год. Знаешь, почему дети плачут? Потому, что взрослые отрубили головы оленям».

Лисичка

К Новому году в детском саду и дети и взрослые готовились основательно. Мы вырезали снежинки из салфеток и наклеивали их на оконные стекла. К потолку крепились метровые нитки с равномерно нанизанными на них теми же снежинками или кусочками ваты. Длинные гирлянды разноцветных флажков связывали и развешивали по залу. Разучивались стихи, песни, танцы, раздавались роли — готовился утренник.

Петрушки были в ярких атласных, состоящих из двух половинок разного цвета комбинезонах с большими, с ладонь, пуговицами. На голове — высокий картонный колпак. Колпаки украшались блестящей мишурой, золотой и серебряной бумагой. Завязывались они под подбородком шелковыми лентами, но во время танцев непривычный головной убор все равно сбивался набекрень или налезал на глаза, приводя артистов в немалое замешательство. Зайцы же были в белых, сшитых из простыней костюмах, в варежках и шапках с длинными ушами. Сзади пришивался хвостик из свалявшегося куска ваты. Бывало, за минуту до выхода к елке у кого-нибудь из зайцев хвост отваливался, и начинались слезы. Хвост наскоро прикалывали булавкой, и сопливый заяц догонял других крупной размашистой рысью, хотя зайцам полагалось передвигаться прыжками на «задних» ногах, держа перед собой «лапки». Зайцы все время мерзли, били себя по лапам и чесали за ухом. Для убедительности образа им выдавали по морковке.

Какого-нибудь крупного мальчика наряжали медведем, и он, в коричневом костюме с пришитыми на макушке ушами, грозно рыча и косолапя, наворачивал круги вокруг елки.

Девочки были или снежинками, или бусинками. Бусинки — в разноцветных платьях из накрахмаленной марли, снежинки — в белых. И те и другие сверкали блестками, а на головах светились самодельные короны, обсыпанные осколками битых игрушек, посаженными на клей и вату. У бусинок и снежинок было по похожему танцу, в которых они кружились на умиление родителям, демонстрируя сбившиеся на одну фасолину попки трусишки и время от времени теряя ориентир.

У меня была роль! Лисичка! Роль со словами, песней и танцем! Лисичка разными средствами пыталась умыкнуть у Деда Мороза подарки. Она то притворялась доброй и несчастной, то снова становилась коварной. Роль мне нравилась, я была главной во всем этом детском хаосе и рулила ситуацией так, как хотелось мне, к изумлению воспитателей и неожиданно для себя самой

изменяя на ходу сценарий. Помню, как я увидела маму среди родителей. Она внимательно всматривалась в меня, и было что-то удивленное и радостное в ее лице. Я была абсолютно счастлива и уже тогда вдруг ясно осознала, что этот момент буду вспоминать всю жизнь.

Обман

Мы гуляли на улице, на площадке, и за мной пришла мама, но я ее не узнала. Смотрю и не узнаю! По-новому уложены волосы и какая-то виноватая улыбка. Даже не улыбка, а смешок незнакомый проскальзывал. На ней был новый синий шелковый костюм с белыми ромбами и белые босоножки, а в руках большой бумажный кулек с черным виноградом. Мне все хотелось к ней прижаться, обнять ее, чтобы все видели, что это — моя мама. Но она сказала, чтобы я побыла здесь, что у нее есть какие-то важные дела и она зайдет за мной попозже. Поговорила с воспитателями и ушла. Через некоторое время я увидела, что из моей группы никого не осталось. Рядом были какие-то незнакомые дети, и воспитательница тоже поменялась.

Играть мне не хотелось. Я взяла щепку и стала водить ею по стене дома. Иду в одну сторону и оставляю за собой на стене линию-отметину, иду обратно — и щепка за мной чертит по штукатурке. Я этот звук помню и сейчас. Тоскливый, однообразный, хриплый, старческий, мертвый. Новые дети смотрели на меня внимательно, с любопытством. Я объясняла им, оглядываясь на ворота, что скоро пойду домой. Придет мама, и мы уйдем. Я — сама по себе! Я не с вами! Потом нас всех соединили и повели в дом, только через другой вход, в незнакомую группу. Я все боялась, что мама может меня не найти, подходила к взрослым и объясняла, что лучше мне было бы остаться на улице, мама может испугаться, если не найдет меня там, где оставила. Мы же договорились! Но они не понимали меня!

Нас посадили за столы и стали подвязывать «плеванчики» — это такие клеенчатые фартучки. Было странно: ведь я уже большая и не пачкаюсь, как маленькие. На стене висела большая картина: мама-мышь большой ложкой кормит кашей мышат. Нам тоже дали манную кашу. Я ела ее и беззвучно плакала. От «плеванчика» остро пахло старой клеенкой. Потом принесли цинковое корыто и каждому дали резиновый кирпичик губки. Отличались они друг от друга по цвету — бордовые, зеленые, желтые, — и мы мыли ноги.

В темной спальне было прохладно. Меня положили в чужую холодную железную кровать с высокими загородками, и все как-то быстро заснули. Я долго не спала и все прислушивалась. Через какое-то время кто-то вошел, снял с меня одеяло и положил его на высокие борта кроватки (видно, это были процедуры закаливания). Когда дверь закрылась, я опустила одеяло на себя.

Снова вошла нянечка и, поняв, что я не сплю, сказала: «Чем быстрее ты уснешь, тем быстрее придет мама». Я уснула. Утро было солнечным и крикливым. Один из мальчиков описался. Он плакал, нянечка, снимая с постели белье, ругалась, а дети смеялись.

И наступил день, втянувший меня в свою будничную кутерьму. И я почти забыла, что был вечер и было утро…

Земля

Совсем маленькой я часто садилась на землю и рассматривала всякую мелкую живность, которая водилась в траве. Среди вьюнков, стелющихся длинными запутанными нитями и сплошь усыпанных белыми граммофончиками, отыскивала муравьев, жуков, кузнечиков и заводила с ними беседы. Разговоры были немудреные: какой ты красивый, где твои детки, куда ты пополз, тебе надо не туда, а сюда, сейчас я тебе помогу. Вся эта возня могла длиться долго, пока меня не увлекала какая-нибудь ящерка, и я начинала охотиться за ней, все дальше и дальше отходя от дома.

Найдя красивое стеклышко, я, как, наверное, все дети в моем тогдашнем возрасте, делала «секретик». Палочкой вырывала небольшую ямку в укромном месте, под осколок стекла укладывала сорванный цветок, кусочек фольги или фантик от конфет. Все. Теперь — закопать, утрамбовать и запомнить место. Самое интересное было — тут же «секретик» отрыть, очистить стекло пальцем и, зажмурив глаза, сдуть с него пыль. Для особого блеска можно его еще протереть, предварительно послюнявив, кончиком подола платья. Насмотревшись вдоволь на такую красоту и позавидовав самой себе, я снова засыпала сокровище землей, загадав желание. Оно должно было исполниться, если этот «секретик» через какое-то время найти.

Помню, однажды начался сильный дождь, и я, закопав стеклышко, помчалась домой. Переждав ливень под крышей, я побежала, перескакивая через образовавшиеся ручьи, обратно к моему «секретику». На этом месте оказалась большая грязная лужа. В ней, распластав свои жесткие крылья, кружились жуки и нежились длинные розовые черви. Какое-то время я постояла, стараясь примириться со всей несправедливостью небесных сил, и, опустошенная, побрела к дому.

Нанка с другими детьми возилась в земле на пригорке и была такая грязная, что я с трудом ее узнала. «Сашулька, иди к нам!» — весело закричала она мне сверху. Я с трудом поднялась по склизкой грязи, каждую минуту рискуя упасть и насобирав на подошвы сандалий пуды глины. «Держи! — Она вложила мне в руки большой кусок жирной земли. И в самое ухо кричала: — Ура! Мы нашли клад!» — восторженно тряся меня за плечи.

Земля была не простая. В огромном скользком коме смешалась глина разных оттенков: красная, желтая, синяя, зеленая. Вниз по пригорку стекали такие же разноцветные ручьи, и во внезапно вспыхнувшем солнце пригорок стал ярким,

масляным и искрил битыми глиняными черепками. Вскоре на горке оказалась вся мелюзга нашего возраста: кто-то лепил, кто-то копал, кто-то мазался глиной, кто-то упоенно мазал товарища. Стало весело. То тут, то там раздавались радостные крики: «Смотри, что я нашел, гляди, какая у меня штука!» Оттопыренные карманы бренчали какими-то ржавыми железками. На пригорке образовались две кучи — одна с черепками битой посуды, другая — с драными башмаками и дырявыми ведрами.

Подходили взрослые, с трудом выдирали из этого грязного месива своих рудокопов, оставлявших на асфальте комья грязи, и, схватив за шкирку, тащили домой. Наша мама подошла к раскопкам и стала вглядываться в лица детей. «Вот эти твои, Сима», — подсказал ей кто-то. «Нет, это не мои», — обиделась мама. «Твои, не сомневайся!» Улыбаясь, мы подошли к маме. Зубы были белые, все остальное теряло очертания. Она всплеснула руками: «Как же я вас теперь отмою?» Нам было все равно. Мы испытывали блаженство от проделанной работы. Такое удовлетворение!

На следующий день ребятня подходила к откосу, как к братской могиле. Земля застыла, потрескалась на солнце и перестала быть волшебной.

Я сейчас с трудом представляю себе, каково было маме купать нас, маленьких. Ведь это как в сказке: дров наколоть, печь истопить, воды натаскать, нагреть, а потом еще эту воду и вылить.

Корыто

Обычно мама купала нас на кухне. Топилась печь, грелась вода в ведрах, на полу стояло железное корыто. Было тепло и весело от предстоящей процедуры. В корыто наливалась горячая вода, чтобы дно не холодило ноги.

Мыла нас мама по очереди. Намыливая голову куском детского мыла, приговаривала: «Моем, моем трубочиста, чисто-чисто, чисто-чисто». Голове было больно и хотелось всплакнуть, но мы стискивали зубы, зная, что дальше дело пойдет легче. Потом волосы споласкивались водой с добавлением уксуса, чтобы блестели. Когда мама терла нас мочалкой, мы шатались в разные стороны, и она покрикивала: «Стой! Держись за меня! Упади еще мне!» Мы держались за ее шею или руку и покорно подставляли те части тела, которые она требовала. Самое приятное было споласкиваться водой из ковшика. Нам хотелось поливаться самостоятельно, но вода лилась мимо корыта, и мама ковшик отбирала. Напоследок она выливала на нас более прохладную воду, вызывая визг от неожиданности и восторга.

Замотав в простыню, мама брала меня на руки и несла в комнату. Там уже Нанка помогала вытираться насухо, надеть розовую байковую длинную, до пят, рубашку и улечься в чистую постель. Мне было холодно от свежих простынь, но она дышала мне под одеяло, и я быстро засыпала. А мама выносила грязную воду на улицу (выливать можно было только в выгребной сток, находившийся не так уж близко, около общественного туалета). Потом вытирала пол и мыла Нанку. После нас мылась сама и, вынося ведра распаренная, часто простужалась.

Радость

Гонимые домой холодным сильным ветром, мы с Нанкой радостно вскрикивали, увидев дым из нашей трубы. Мама затопила печь!

Зимой, всякий раз, когда мама растапливала печь, едкое облако заволакивало кухню, коридор и веранду. Мы начинали носиться по дому, размахивая полотенцами, пытаясь быстрее выгнать через настежь распахнутые двери сизый туман на улицу. Кошки, отфыркиваясь, выскакивали в палисадник и терпеливо ждали, когда их пригласят обратно. Вскоре в печи начинали гудеть веселые поленья, и дом наполнялся блаженной теплотой.

На раскаленную докрасна печь ставился огромный бак с водой, нагревавшийся до кипения, и с запотевших стекол начинали стекать ручьи. Стирала мама в цинковом корыте, поставленном на табурет, и с остервенением ерзала бельем по железной ребристой доске. Коричневый кусок мыла, выскальзывая из рук, терялся в белье, и мама, изумляясь своей неловкости, коротко всхохатывала. Мы с Нанкой, свернув из тетрадного листа трубочки, совали их в мыльную пену и выдували пузыри на радость котятам. Иногда и мама присоединялась к нашей забаве, и ее пузыри всегда были почему-то больше и жили дольше.

При споласкивании белья в воду добавлялось немного синьки, от чего простыни становилось чуть голубоватыми. Выжимать большие вещи маме было сложно в одиночку, и мы с Нанкой, держась за один конец пододеяльника и стукаясь лбами, с удовольствием крутили его изо всех сил. Выжатое белье толстыми змеями клали в тазы, и мама, замотавшись в платки и кинув на шею веревку с прищепками, шла вывешивать белье в палисадник.

Мама никогда не могла угадать, до какой степени нужно прогревать дом. Наши кошки в полуобморочном состоянии от жары, как тряпки, валялись на полу, растянувшись во всю длину. Мы же, сидя в трусах за письменным столом, клевали носом, размазывая по тетрадке еще не просохшие чернила. И в конце концов засыпали над учебниками, а мама, держа нас под руки, уводила в постель.

К утру в доме становилось холодно. Крымские ветры зверски выдували с таким трудом доставшееся тепло, а окна мы почему-то никогда не заклеивали. Утром, перед школой, мы с Нанкой шли снимать с веревок жесткое от мороза белье, и еще успевали попрятаться друг от друга в его лабиринтах. Потом оно

лежало на столе грудой шифера и, постепенно оттаивая, приходило в себя. Мы вдыхали его морозную свежесть, и где-то внутри просыпалась радость.

Иду вдоль забора, за которым стоят лошади. Два длинноногих жеребца и один пони. Добрые мамаши знакомят с животным миром своих чад. Совсем маленькие безразлично сидят в прогулочных колясках и пускают слюни, но мамашки уверены, что те в восторге. «Вот какая лошадка смотрит на Ванечку! Здравствуй, Ванечка, говорит лошадка! Как я рада тебя видеть! Почему ты так долго не приходил? Болел? Не болей больше, говорит лошадка!» Беседа с конем затягивается, вопросы становятся все более въедливыми, а ответы коня все обширнее, пока мамаша не замечает, что у ребенка повисла голова и он спит. Ей неловко, что заметила это не сразу, но уходит она гордо, уверенная, что первый камень в познании ребенком животного мира заложен.

Дети постарше с удовольствием кормят лошадей сахаром, яблоками, хлебом. Родители исполняют роль статистов, подающих корм. «Куда ты ему столько даешь? — возмущенно спрашивает мать, разворачивая пакет. — Ему хоть сколько дай, все сожрет! Ты маленькому дай! Он тоже хочет! Смотри, как он глядит на меня исподлобья. Обиделся, что ли? Да не перевешивайся ты! Упадешь, они тебя затопчут! Куда ты к нему лезешь? Хочешь, чтоб он тебе голову откусил?» Ребенок замечает, что у пони висит почти до земли, покачиваясь из стороны в сторону, детородный орган с руку толщиной. «Мама! А что это у маленького такое большое болтается?» — изумленно спрашивает малыш. Мать в ужасе отшатывается: «Где? Ишь ты, смотри какой! Маленький, а наглый! Как твой отец прям! Это он, сынок, заболел. Пойдем отсюда, а то еще заразишься».

А рядом, в большом вольере, бегают по периметру уже совсем другие лошади. Ухоженные, сильные красавцы. Белой и черной масти. Девушка-тренер щелкает бичом и заставляет их перейти на галоп. Когда они проносятся мимо, слышно, как работают мощные легкие, и ветер, поднятый движением крупных сильных тел, приносит запах звериного пота.

К вольеру подходит отец с десятилетним сыном. Два толстых краснолицых блондина. Отец, откашлявшись, неожиданно бабьим голосом: «При ковке копыта предварительно расчищают от наслоившегося и отжившего старого рога, а затем подгоняют подкову по копыту. Подкова долж на прилегать к копыту плотно, без просвета, и выступать из-под копыта у зацепной и боковых стенок на 0,5–1 миллиметр. Концы гвоздей (барашки) должны

плотно прилегать к роговой стенке…»

Копчик

Копчик — старая кляча. На телеге, запряженной Копчиком, по определенным дням к нам в Городок приезжал дядька-старьевщик. Городок — это рабочий городок порта — так назывался район Феодосии, в котором мы жили. Старьевщик собирал по домам ненужное тряпье. Не знаю, что получали взамен взрослые, но детям он давал птички-свистульки, воздушные шарики и бумажные веера. Завидев Копчика, мы с Нанкой сломя голову бежали домой, тайком брали там какие-то тряпки и тащили менять. Правда, домашние запасы быстро исчерпывались, и взять что-то незаметно от мамы было уже невозможно. Поэтому часто мы только наблюдали за бойкой торговлей и облизывались.

Однажды, когда дядька, наполнив телегу, собрался уже уезжать, я вдруг вспомнила, что видела за сараями хороший кусок меха. Прибежав туда и обнаружив его все так же лежащим, никем еще к рукам не прибранным, я очень обрадовалась. Отряхнула мех — он был жесткий как фанерка и стоял колом, — положила под мышку и бегом к Копчику. Когда я протянула его дядьке, тот повертел шкурку в руках, понюхал и бросил на землю. Это была раздавленная кошка! Я залилась слезами. Он пошарил у себя за пазухой и дал мне бумажную свистульку. Если в нее дуть, она разворачивалась как длинный язык. Такой ни у кого не было! Копчик с дядькой уехали, а я не понимала, что мне делать — радоваться или плакать. Свистулька — хорошо! Даже очень хорошо! Раздавленная кошка — беда. Меняю беду на свистульку — как-то нехорошо…

Аннушка

Аннушка — моя подруга в детском саду. Короткие кудрявые волосы, всегда красиво одета. Белые носочки! Мы много смеялись. Она умерла. Помню тот день. Мы качались на качелях. Потом она сказала, что у нее кружится голова и больше она качаться не будет. Вечером пришла ее бабушка, и они пошли в летний кинотеатр. Мы попрощались. Навсегда. Утром следующего дня воспитатели спрашивали: кто на прогулке у фонтана ел с Аннушкой желтую акацию? Я не ела…

Через несколько дней Аннушкина бабушка принесла нам конфеты. Она тихо плакала и шепталась со взрослыми. А после обеда детям велено было стелить постели и ложиться спать. У каждого в чулане хранился собственный матерчатый мешок с одеялом, подушкой и бельем. Идешь в чулан, берешь мешок и стелешь себе на приготовленную раскладушку. Когда я вошла в чулан, там, прислонившись друг к другу, стояли два мешка — мой и Аннушкин. Когда я взяла свой, ее мешок накренился и упал. И меня вдруг охватило такое горе! Я легла под одеяло, задыхаясь от слез. Мне казалось, что нет для меня на свете ничего роднее этого мешка. А после сна, когда убрали раскладушки, пол был усеян фантиками от конфет…

Через ограду Шереметьевского дворца вижу белую скамейку, ротонду на холме, деревья, которые кто-то когда-то посадил. Здесь была чья-то жизнь, бегали дети, кто-то кого-то целовал, а кто-то, ревнуя, поигрывал прутиком. А дворец, парк, белая скамейка и ротонда остались… Как здорово, когда от тебя что-то остается. Что останется после нас? Пока мы с тобой, Нанка, живы, живы и мама, и папа, а мы умрем, и они умрут. Кто вспомнит нас? А надо, чтобы нас помнили?

Мама сидела на скамеечке в палисаднике, поссорившись с папой из-за его очередного недельного запоя. И вдруг услышала, как хлопнула дверь в кухню. Она встала и прикрыла дверь, ведущую в дом, чтобы не видеть и не слышать пьяного мужа. А он в этот момент повесился на двери. Ушел, хлопнув дверью в прямом смысле слова. Может, он в последний момент раздумал и захотел жить, а мама не поняла этот стук? Или это была конвульсия? Как он решился нас оставить? Мы ведь совсем маленькие были…

Тюк

В спальне за старинной деревянной вешалкой стоял большой тюк. Большой такой матерчатый мешок. На вешалке висели какие-то вещи, пальто, которые в этот момент не носились, все это было накрыто простыней, так что тюка почти не было видно. Тюк — штука полезная. Нам с Нанкой на нем было хорошо плакать, если что-то случалось, или прятаться во время игр. Становишься на тюк, прикрываешься пальто или протискиваешься в угол за тюк, и никто тебя не видит! Однажды мы так хорошо этот тюк намяли, что он развязался и показалась мужская кепка. Мы перестали играть и стали рассматривать чужую вещь. За кепкой пошли еще кепки, рубахи, штаны, пальто, туфли. На самом дне была большая пачка писем и открыток, перевязанных куском мелкой рыбацкой сети. «Чувствуешь запах? — строго спросила Нанка. — Это папа». Помню, как буквально закружилась голова от неожиданной встречи. Мы совали голову в тюк и не могли надышаться, клали лицо в кепку и раздували ее своим дыханием. Как кошка, нализавшаяся валерьянки, я стала тереться о папины вещи и зарываться в них. Пахло чем-то далеким, забытым и родным. Табаком и мужчиной.

Теперь я знала, что папа дома. Он живет в тюке под вешалкой, и, когда мамы нет, я в любой момент смогу с ним побыть, подышать им, потрогать его и даже обнять.

Асфиксия

Лет в одиннадцать мне в руки попал листок с папиными фамилией, именем и отчеством. На листке было написано незнакомое слово «асфиксия», и я почему-то сразу поняла, о чем идет речь. Вспомнился случай, когда мы гурьбой шли из школы, и кто-то сказал Людке: «А твой отец — Жорик!» Жорик был холостяк, здоровый рыбак, вечно пьяный, и он часто ходил к ее матери занимать деньги. Людка надулась и пошла вперед. Я догнала ее и начала успокаивать: «Чего ты? Да врут они все!» Людка посмотрела на меня через одно незаклеенное стекло очков и тихо сказала: «А твой отец повесился». Я остолбенела. Людка отошла подальше, прокричала: «Твой отец повесился!» — и быстро побежала в гору. Я оглянулась на оставшихся. Все смотрели на меня. Я говорю: «Вот дура! У нашего папы было больное сердце!» Все продолжали молча смотреть на меня. Вот это мне уже совсем не понравилось. Я бросилась домой. Дома была Нанка, и я, задыхаясь, спросила: «Надя, а что, наш папа повесился?» Нанка спокойно спросила:

— Кто сказал?

— Людка.

— И ты веришь?

— Нет!

— Правильно делаешь.

— А может, и…

— Нет!

— Почему?

— Потому что у него было больное сердце. Он воевал. Ты мне веришь?

— Да.

— Тогда выбрось это из головы. Не вздумай у мамы спрашивать. Мало ли что болтают…

И я выбросила это из головы. Потом, держа в руках бумажку с этим странным словом «асфиксия», я все вспомнила. С тех пор в голове все время крутился вопрос. Почему? Зачем? Мне стало его не хватать. Мне хотелось с ним говорить. Я ощущала его в себе. Я любила его, оправдывала и жалела. И в то же время постоянно возвращалась мыслью к его поступку. Предал ли он маму и нас? Все-таки предал. Ведь у каждого человека есть выбор. А у отца, что, не было? Мы стали с Нанкой шептаться тайком от мамы, философствовать на эту тему.

Балка

Балка — это глубокий овраг, поросший бурьяном в рост человека. Там — старинные армянские церкви XIV века, глубокий заброшенный фонтан без воды и сложенные аккуратными штабелями буйки разных форм и калибров. Мы бесстрашно взбирались на самую верхотуру и перепрыгивали с буйка на буек, рискуя сломать себе шею. Дело это требовало немалого мастерства и отваги — пирамида могла рассыпаться и раздавить неразумного смельчака.

Охраняла буйки баба Фрося, маленькая, кривая на один глаз старуха, одетая в черное, с дрыном в руке и всегда в сопровождении своры злющих собак. Появлялась она неслышно и сразу принималась «лаять» не хуже своих питомцев. Мы боялись ее, но на буйки лазали. Церкви тоже охраняла она. В те времена в некоторых из них хранились просмоленные бочки, тросы, вымазанные мазутом, какие-то железки. На тяжелую дверь вешался пудовый замок, а ключ баба Фрося носила в мощной связке на поясе. Случалось, что замок кто-то сбивал, и храм оставался открытым. Тогда мы и проникали в него. Гулкое эхо, огромность помещения, высота, ощущение своей малости по отношению к чему-то большому, незнакомому — все это нас манило с невероятной силой.

Однажды я прошла вглубь храма, а кто-то из нашей компании пошутил и закрыл двери. Я оказалась одна. Было темно, но из маленьких верхних окошек пробивался пыльный солнечный свет. Когда глаза привыкли к темноте, я увидела крупную цепь с узлом, свисавшую с купола почти до земли. Я села на узел и начала раскачиваться. Мне не было страшно. Цепь скрипела. Лучи сверху давали достаточно света, чтобы не бояться, и вдруг… я заметила человеческие лица. Люди, вырезанные из камня, стояли в углублении стены, сложив ладони перед собой. Я так обрадовалась им! Казалось, что они ничего не имеют против моего присутствия, даже наоборот, одобрительно хлопают в ладоши.

Вечером, возвращаясь домой с моими верными предателями, я все думала о тех каменных людях. Кому они сейчас там хлопают? В темноте…

Мокрая карусель скрипит и покачивается. С ознобом вздрагиваю от мысли, что сейчас можно сесть на это холодное сиденье и почувствовать дуновение встречного осеннего ветра.

Карусель

Летом в субботу и воскресенье городошные шли в центр гулять. Дети, предчувствуя радость от встречи с каруселями, охотно совершали обычно нелюбимую процедуру — мыли шею и ноги в тазу с холодной водой. Потом надевали чистые платьица и костюмчики, клали носовые платочки в кармашки и как приличные детки зализывали челки и чубчики мокрой расческой. Отцы тоже с удовольствием шли на такого рода мероприятия, твердо зная, что свою законную кружку-две (а может, и три) — и не только пива — они выпьют, что бы эта «анаконда» ни говорила. Мамаши шли с надеждой, что уж сегодня этот «скот» будет вести себя по-человечески, и пусть все видят, как крепка наша семья.

И правда, пока шли через старый город по средневековой разбитой булыжной мостовой, обдирая шпильки, куря «Беломор» и обсуждая предстоящие аттракционы, производили впечатление приличной семьи. Ближе к центру и «цивилизации» — впечатление рассыпалось. На каждом углу стояли бочки с пивом и вином, были еще с надписью «Квас», но около них толклись только женщины и дети. Отцы под предлогом «поздороваться с сослуживцами» задерживались около винных бочек дольше положенного, чем вызывали хныканье своих чад и учащенное дыхание супруги. Наконец семья добиралась до центральной площади, где дети катались на машинках или лошадках с педалями.

Нас мама тоже водила кататься, и мы ездили по кругу, врезаясь в стаю ленивых голубей, которые не столько взлетали, сколько разбегались от нашей быстрой езды. Потом мы шли в парк, под Генуэзскую башню святого Константина, и там катались на самолетах, лодочках, каруселях на цепях и чертовом колесе. Совсем маленькие детки ездили с черепашьей скоростью по деревянному кругу на всевозможных животных: верблюдах, оленях, лосях, а их перевозбужденные родители бегали за ними и кричали: «Ох, я сейчас кого-то догоню! Ну, сейчас я точно кого-то догоню!» Шел маленький паровозик по рельсам, и там тоже сидели невозмутимые малявки со своими скрюченными отцами, у которых ноги не помещались в кабинке и колени доставали до ушей. У теток в накрахмаленных кружевных наколках на голове, восседавших на высоком табурете, детям покупали газированную воду с сиропом. Весь этот щенячий праздник оглашался песнями из репродукторов: «И я по шпалам, опять по шпалам идууууууууу домой по привычке! Па-па-ру па-ру па-ру па-ру па-ру-ра! Е-е».

Каждый раз проезжая по кругу мимо мамы, мы с Нанкой

весело махали ей и кричали: «Мама, а мы вот они! На нас смотри, мама!» Мама смотрела на нас, улыбалась, но нам казалось, она плачет. Только без слез плачет. Мы знали: она скучала по папе и жалела, что он не видит, как мы растем. Выходя из парка, мы брали маму за руки и прижимались к ней. «Пойдем, мама, домой. Мы уже накатались». Она с радостью соглашалась.

А в кустах, перекатавшись на каруселях, мучились рвотой дети, и отцы заботливо учили их: «Запомни! Никогда не блюй себе на ботинки. Блюй в сторону!»

Домашние игры

Когда мы с Нанкой оставались вдвоем и все интересные и неинтересные дела были переделаны, мы с ней придумывали какую-то новую игру.

Игры были незатейливы, но требовали сил и сноровки. Вот совсем простая: один цепляется за дверь, поджав ноги, а другой раскачивает дверь из стороны в сторону. Слететь можно было легко — кто дольше продержится, тот и выиграл. Раскачивая, надо было найти такой ритм, чтобы цепляющийся не смог подладиться под него, — резкий и короткий рывок сбрасывал противника на пол. Мама потом недоумевала: так быстро расшатываются дверные петли, или это садится дом?

«Половики» — игра веселая, шумная. У нас в комнате на полу лежали длинные половики-дорожки. Одна садилась на половик и держалась за него изо всех сил, а другая бралась за противоположный конец, впрягалась, так сказать, и бегала по комнатам, стараясь сбросить седока. Нанка мотала меня по всему дому с такой скоростью, что все предметы, попадавшиеся на пути — столы, стулья, диваны, — хорошо отпечатывались на моем костлявом теле. Но я держалась и не падала, изматывала Нанку тоже будь здоров, хотя она была намного сильнее меня. Когда приходила моя очередь тащить, я делала это с трудом, пробуксовывала на месте, падала, а Нанка покрикивала: «Ну, Шурка, тащи же меня! Мне так неинтересно! Сижу тут как дура!» И давала советы: «Сними носки! Помочи ноги, тогда не упадешь». Помогало.

Кровать — тоже отличная игра. У мамы на кровати была хорошая пружинная сетка, и мы на ней, как на батуте, прыгали. Это можно было делать синхронно, вдвоем, можно поодиночке, можно вразнобой, падая на спину, вскакивая на ноги. Еще было интересно кувыркаться — вперед, назад или, держась за спинку кровати, стоять на матрасе вверх ногами, выделывая ими разные кренделя. Вообще, мамина кровать — кладезь для всяких акробатических трюков.

Если мама возвращалась домой внезапно, она приходила в ужас от того, в каком виде представал перед ней дом: вся мебель не на своих местах, половики свалены жеваной кучей, а в постели как будто конь валялся. «Та-а-а-к. Оч-ч-чень хорошо. Ну-ка, идите-ка обе ко мне. Надя, ты же старшая…» — начинала она. Мы с красными лицами и мокрыми головами, опустив глаза, выслушивали нарекания, изо всех сил стараясь унять азарт и смех от предыдущей игры. «Вы поняли?!» — строго заканчивала мама,

и мы с готовностью отвечали: «Мы все поняли, мама», а Нанка авторитетно добавляла: «Больше этого не повторится». И все повторялось снова.

Нанка

Нанка была необыкновенно боевита. Совсем маленькая, она кусала своих сверстников, если те не брали ее в игру. Укусив, забегала в дом и сразу лезла под кровать. Это означало: жди гостей. Вслед за Нанкой появлялась чья-нибудь мамаша, держа за руку свое, покусанное Нанкой, дитя. Дитя всхлипывало и с удовольствием демонстрировало круглые часики, оставшиеся на руке от крепких Нанкиных зубов. Когда ее спрашивали: «За что?», она отвечала: «За все!», но из-под кровати не вылезала.

При всей своей боевитости в детском саду она очень скучала по дому, часто плакала и делала это очень громко. Отдыхающие санатория Министерства обороны, расположенного рядом, жаловались: приехали, мол, лечиться, а у них постоянно сердце рвется от жалости. Каждый божий день они слышат, какие нечеловеческие мучения испытывают в этом саду дети. На просьбы так не орать Нанка находчиво предлагала: «Заприте меня в чулан. Я хоть там спокойно поплачу!»

В один прекрасный день она обманула воспитателей, сказав, что потеряла от мамы записку, в которой говорилось, чтобы ее не укладывали спать в тихий час, а посадили бы в автобус первого маршрута. Через весь город до конечной остановки «Горбольница» Нанка ехала в кабине водителя, а дальше дорогу нашла сама.

Мама сидела в лифчике и трусах за письменным столом и писала сценарии очередных утренников (работала она тогда музыкальным руководителем в пяти детских садах), а я, почему-то оставленная в этот день дома, увидев Нанку, завизжала от радости. Поняв, что произошло, мама быстро оделась, схватила нас, и мы побежали на автобусную остановку. Но навстречу нам уже шла с перекошенным лицом заведующая детским садом. Нанку не ругали, мама молча переложила Нанкину руку в руку воспитательницы, та сжала ее покрепче, и они уехали.

Очень рано Нанка начала играть с мальчишками. Однажды, года в четыре, подошла к компании ребят на несколько лет старше ее и, стеснительно улыбаясь, попросилась с ними поиграть. Те засмеялись и отказали: не доросла еще. Она не отставала. Тогда они ради смеха предложили ей побороть самого толстого пацана по кличке Жопа. Мол, если поборет, тогда они ее возьмут. Не успела компания как следует посмеяться своей удачной шутке, как Жопа уже лежал на земле, а Нанка сидела на нем. Ребята поняли, что девчонка серьезная. С тех пор авторитет Нанки среди мелкой шпаны был непререкаем.

Когда приходило первое тепло и асфальт подсыхал, жизнь детей на улице не прекращалась до темноты. Человек двадцать мальчиков и девочек строгали из палок пики, сабли, шпаги, мечи, делали пистолеты из толстой негнущейся проволоки, заряжая их какими-то семенами-плодами, и под руководством моей старшей сестры выходили на тропу войны. По окрестностям Городка — бурьян в рост взрослого человека, в нем было хорошо прятаться. И никто нас не видел — только шорох и сдавленные крики, и где-то качается густая трава.

Мы бегали на гору жечь костер и давать клятвы. Держа в руках зажженные факелы, заволакивали пленных и раненых в пещеры. Раненым быть неинтересно: санитары так накладывали им жгуты и повязки, что рваться в бой становилось уже бесполезно, можно было только просить пить или бесславно умереть. Девочки, игравшие в «войнушку», мечтали о каком-нибудь подвиге, кого-то спасти или умереть как-то красиво, но, к сожалению, ограничивалось все ободранными коленками или кровью из носа. Взрослые эти игры не одобряли.

Мы приходили домой с наступлением темноты — с дикими глазами, грязные, пахнущие костром, отвыкшие за день от домашней жизни. Приносили с собой палки, ставили их в угол на веранде и строго следили, чтоб мама не выбросила. Засыпали прямо за столом, как солдаты. Мама робко спрашивала: «Девочки, вы девочки или мальчики?» Мы снисходительно улыбались насколько хватало сил. Уже лежа в постели, я спрашивала Нанку: «Завтра будем опять биться?» — «Конечно будем. Не волнуйся. Спи». И я, счастливая, засыпала.

Улица

Одна из главных уличных игр была игра «в классики». Мы чертили классики и набивали песком банку от гуталина. Называлась она биткой. Носком ботинка били по ней и скакали на одной ноге до наступления полной темноты.

Другая игра — «пробочки». Откручивались пробки от духов, одеколона, шампуней, клались в карман, и, потряхивая ими, мы шли на улицу. Кидая пробку на землю, нужно было с определенного расстояния попасть ею в пробку другого игрока, и тогда она становилась твоей.

Играли в «жмурки» и прятались по чужим палисадам, гремя выставленными на просушку тазами и ведрами, за что были с проклятиями гонимы хозяевами.

«Ловитки» тоже была подвижная игра. Мы гонялись друг за другом толпами, взрослые нас боялись — скорость не всегда удавалось сбавить, и какая-нибудь тетка закручивалась в наш водоворот, если не успевала предусмотрительно прилипнуть к забору.

Скакалка! Сколько ей было отдано сил! Через нее скакали даже взрослые девушки и парни. Двое крутят толстую веревку, веревка смачно бьется о землю. Скакали с притопом, прихлопом, на двух ногах, на одной, крестом и парами.

«Десятки»! Любимая моя игра с мячом. Мячом нужно было бить о стену с недюжинным мастерством: через спину, через руку, между ног, с отскоком, с переворотом.

А еще — «разрывные цепи», «ручейки», «путаница», «краски», «числа», «города», «штандер» — много разных игр, и мы готовы были с утра до вечера и с вечера до утра проводить время на улице.

Театр

Нанкина неистощимая фантазия не давала покоя ни ей, ни мне. Она писала пьесы и ставила спектакли. В тонкой зеленой тетрадке она черкала, слюнявя карандаш, и что-то шептала себе под нос. Первая пьеса называлась «Мой брат Миша». Она была незатейлива, но жалостлива: началась война, два брата уходят на фронт, а младшая сестренка остается дома. Нанка и Ирка были братьями, а я — оставленная сестренка. Репетиций не было, Нанка просто рассказала, кто и как должен действовать в соответствии с ее замыслом, и в семь часов около магазина открылся самодельный занавес. Зрители пришли с билетами, предварительно розданными нами. Народу оказалось много, сидели на принесенных из дома стульях, табуретках, ящиках.

Нанка вышла в синих с оттянутыми коленками спортивных штанах, в мальчишеской кепке, с пионерским галстуком на шее. Зрители устроили овацию сразу. Нанка дала паузу и сообщила, что началась война, отцов поубивали, и теперь ей, юному пацану, пришел черед идти на фронт умирать. Залихватски сплюнув в сторону, она затянула песню «Орленок». Тут вышла на сцену Ирка, примерно в таком же одеянии, и поинтересовалась: куда это ее брательник собрался? Нанка объяснила все заново, что, мол, началась война, всех отцов поубивали, и теперь вот пришел ее черед идти на фронт. Ирка обрадовалась и сказала, что тоже уже готова защищать Родину, и притащила из-за кулис две здоровые палки — вроде это ружья. Они несколько раз дружески обнялись, спели «Каховку» и уже хотели было уйти на фронт.

Тут вышла я, вся в белом: платье из белого тюля, на макушке — гигантский бант. Перед спектаклем над моим имиджем основательно поработали старшие девочки: нарумянили, накрасили тушью глаза, помадой губы, волосы «забигудили» — кукла из фильма «Три толстяка». Зрители оценили мою красоту, и аплодисменты зазвучали громче. Я дождалась, когда станет тихо, и, хлопая накрашенными ресницами, спросила у новобранцев: «А куда это вы, братья мои родные, собрались?» Нанка с Иркой наперебой стали мне объяснять, что, мол, пойми ты, глупенькая маленькая девочка, война началась, отцы-то уже все как один погибли, теперь пришла очередь взрослых пацанов сложить свои буйны головы. Я их внимательно выслушала и спросила: «А мне что делать?» Братья сняли кепки, почесали в затылках, снова их надели и предложили мне потанцевать, пока они будут воевать (зрители стали тихонько смеяться). Я согласилась и по-быстрому, под свое «ла-ла-ла»,

станцевала малоподвижный танец куклы. Братья пожали мне руки, взяли палки-ружья и повернулись, чтоб навечно уйти, но я их остановила: «Подождите, я с вами!» Нанка с Иркой развернулись ко мне с совершенно разъяренными лицами и стали вежливо мне объяснять: «Пойми ты, дурья башка, ты — маленькая девочка, ты не умеешь воевать, ты испугаешься фрицев, и они тебя просто-таки-напросто-таки убьют на фиг. Понимаешь? Собралась она воевать! Тут есть кому воевать!»

Я оскорбилась. Сорвала с головы бант, вытащила огромный дрын, подпиравший магазинную дверь, и со страшными глазами подбежала к братьям. «А с ним возьмете?» — спросила я, пыхтя, покачивая дрыном, который был в несколько раз здоровее их «ружей». Зрители уже смеялись, не сдерживаясь, и давали советы: «Надя, Ира, вы же большие девочки, возьмите ее на фронт! Она будет хорошо воевать! Да заберите у нее палку, а то она себе ноги отшибет!» Нанка еще немного поартачилась, что, мол, в пьесе этого нет, надо все-таки слушать режиссера и подчиняться автору, а так — это черт-те что, но сдалась, и мы все ушли со своими палками за кулисы. За кулисами она мне шептала: «Что ты все за мной бегаешь? Куда я — туда и тебе надо?! Даже умереть на фронте спокойно не дала!» Зрители кричали «бис!», и я, держась за Нанкину руку и улыбаясь ей во весь свой беззубый рот, шла кланяться.

Однажды из каких-то мешков Нанка достала майки, сшила их внизу посередине — получились купальники, вынула из шкафа мамины пояса, ремни, взяла девчонок, и мы пошли тренироваться в акробатике. Надев майки и потуже затянув ремни, мы почувствовали, что можем совершить нечто уникальное, неповторимое, из ряда вон выходящее. На траве расстелили одеяло, и дело закипело. Человек пять-шесть кувыркались, извивались, тянули носочки, подпрыгивали, поднимались в воздух, становились на мостик, на голову, завязывались в узел. Мы приходили в восторг от собственной неожиданной спортивной гибкости, нам казалось, что мы уже можем спорить с циркачами, гимнастами, балеринами.

Вечером народ был собран у магазина, и мы давали представление. Все это было похоже на смесь акробатических номеров с босоногими танцами Айседоры Дункан и театром мимики и жеста. Мы взбирались друг на друга, громко выкрикивая «Ап!», делали «колесо», «мостик» и садились на шпагат, танцевали с тюлем, снятым у кого-то с окна.

На наши выступления взрослые не просто охотно шли, а бежали. Спектакли на площади у магазина давались все лето, и

никто не уставал: ни артисты, ни зрители. Каждый артист должен был честно выполнять свою работу, на шермачка не проходило. В противном случае он изгонялся навсегда в ряды зрителей. Нанкины представления о театре отличались высоким профессионализмом и знанием дела.

Создавала Нанка и камерные, домашние театры: кукольный и теневой. Для теневого она сделала экран из кальки и подсвечивала его настольной лампой. Из плотной бумаги мы вырезали фигурки и ставили сказки. Каждая из нас играла по нескольку ролей. А для кукольного театра в проеме дверей между комнатами натягивался занавес, разделяя квартиру на сцену и зрительный зал. Эти представления давались маме и нашим родственникам из Симферополя.

Наши

Это случалось всегда внезапно, без всякого предупреждения. Подходя к дому, мы с Нанкой вскрикивали от радости: в нашем палисаднике на веревке сушились незнакомые полотенца, купальник и плавки! Наши приехали!

В доме слышался бас дяди Вали, маминого брата, и женский смех. Толкая друг друга, мы бросались в объятия нашей любимой тети Лиды, высокой широкоплечей блондинки с голубыми глазами, украинским акцентом и добрым сердцем. Прижимаясь к ее большой груди, мы чувствовали родное тепло. «Сима, какая ты счастливая! Девочки у тебя!» — вздыхая, говорила тетя Лида маме. У нее было два сына. В первом браке родился Сережка, а через десять лет, с дядей Валей, — Вовка.

Сережка был для нас почти кумиром — круглые материнские глаза и ямочка на подбородке. Когда он улыбался, прищуривая один глаз, как будто его слепило солнце, хотелось сделать ему что-то приятное, например, принести кружку холодного вишневого компота. Сережка любил книжки про разведчиков и спорт. Ребенком начал заниматься вольной борьбой и с возрастом вырос в чемпиона Крыма и Украины. К двадцати годам он стал такой огромный, что, встретив его ночью на безлюдной дороге, можно было не на шутку испугаться.

Вовка — мой друган, на два года младше. Мы возрастную разницу не учитывали и требовали с него как с большого. Каждый раз по приезде он сначала ныл, капризничал, но за лето мужал и становился «человеком». На равных с нами играл в наших домашних спектаклях. Сережа же, будучи старше нас всех, смотрел спектакли со взрослыми в зрительном зале. Хохот стоял за кулисами и среди зрителей, когда маленький Вовка писклявил, исполняя женские роли — старшей сестрицы Золушки Гортензии или младшей, Жавотты.

Мы вместе бегали в кино, на море, грызли кукурузу, которую тетя Лида варила в большой алюминиевой кастрюле. Она всегда готовила на целый полк. Какие она делала голубцы с подливкой, тефтели, перцы! На керогазе всегда что-то варилось, в воздухе носился запах вкусной еды, с отъездом родственников сразу исчезавший. При этом она успевала ходить на море и могла провести там весь день. Иногда мама давала мне какую-то снедь, и я бежала на берег подкормить пловчиху. Она проглатывала «передачку» и опять шла в воду.

Арбузы с рынка притаскивал домой дядя Валя. Когда их разрезали, они трескались, издавая неприличные звуки. Снимая с

них шляпки и увидев красную сахарную мякоть, мы ахали и вгрызались в большие, нарезанные полумесяцем скибки, так, что с наших ушей капало. Переполненные арбузным соком, с трудом вставая из-за стола, мылись под железным рукомойником в палисаднике и потом, боясь пошевелиться, ложились на диван.

Ужинали за круглым столом отдельно — сначала дети, потом взрослые. По-быстрому помыв ноги холодной водой, мы ложились спать и сквозь сон слышали, как на веранде наши родители молодели. Дядя Валя ставил на стол бутылку вина, и они долго сидели, спорили или приглушенно смеялись, цыкая друг на друга, чтоб не разбудить детей.

Все вечера казались нам веселыми, праздничными. Иногда мама садилась за пианино и играла. Взрослые пели, шутили, а мы смотрели на них и думали: как им хорошо вместе, как они рады друг другу.

В воскресенье большим семейством шли в центр. Какие красивые были наши взрослые! У мамы и тети Лиды — туфли на шпильках. У мамы — черные, у тети Лиды — белые. Мама брюнетка, тетя Лида блондинка. У обеих красивые яркие платья. У тети Лиды — в голубых тонах, у мамы — в кирпичных. Дядя Валя — в отглаженных брюках, в белой рубашке.

Так и вижу их сейчас. Воскресенье. Молодые… Красивые… Все вместе!

В глубине Останкинского парка на маленьком ресторанчике написано по-русски «Лав» — любовь, значит. Летом здесь всегда слышна музыка, и на открытой веранде, увитой искусственным плющом, при тусклом синем свете медленно передвигаются пары, намертво схватившись друг с другом. Сейчас здесь пусто и тихо, только редкие посетители заходят согреться, выпить пустой горячий чай.

Из ресторана выходят двое. Подвыпившая пара. Ей под полтинник, крашеная блондинка при ярком макияже, крепко сбита, пуговицы на пальто с трудом сдерживают хорошо развитую грудь. Ему тридцать пять — тридцать шесть, породистый кавказец с тонкой талией. Смеются. Перед рестораном лужа, и он хочет взять ее на руки, но она визжит и бьет его по спине пухлой ручкой с толстыми кольцами на пальцах. Он подходит ко мне и на хорошем русском языке просит их сфотографировать. Показывает, куда нажать. Ощущаю запах дорогого парфюма и замечаю ухоженные ногти. Блондинка кокетливо скрещивает набрякшие коленки и придает своему лицу невинно-детское выражение. Он нависает над ней, обхватывая ее сзади под грудь. Женщина томно прикусывает нижнюю губу и глубоко вздыхает. Щелкаю, отдаю

фотоаппарат и иду дальше. Сзади слышу смех, возню, оборачиваюсь и вижу, что он ее все-таки несет. Подол ее пальто отвис, и во всей красе светится тугая попа. Брякнул на скамейку и сразу стал месить ее упругое резиновое тело.

Семечки

Баба Ира продавала семечки, сидя на маленькой скамеечке около своего дома. Насыпала их в бумажные кулечки, свернутые из газет. Маленький стаканчик — пять копеек, большой — десять. Мама не разрешала нам покупать семечки, считая, что лузгать их — удел старух и признак шпаны. Мы грызли их тайком, откладывая пятаки, сэкономленные на завтраках. Если денег не было, нас угощали подруги, но и у них деньги тоже не всегда водились. А вот у Иришки, которой было лет пять, деньги вдруг появились.

«Дай семок!» — потребовала очкастая Людка, видя, что та придерживает переполненный карман. «Пойди купи», — отрезала языкатая Иришка. Оскорбленная Людка подошла ко мне и говорит: «Знаешь, откуда у нее деньги? Ей Витька дает. Он ей в трусы лазит! Я сама видела». Я не поверила. «Он и ко мне хотел, — вздохнула обиженная Людка, — да я не дала», — гордо закончила она.

Девятилетний сипатый Витька был единственный сын у матери. Время от времени в их доме оседал рыбак, намного ее моложе. Ходил он в видавшем виды черном костюме, а прилипшая к нему рыбная чешуя сверкала на солнце, как блестки. Витькина мать носила на седых волосах газовую косынку с люрексом, в руках у нее всегда была черная дерматиновая сумка с белыми разводами от соли (продавала в ней рыбу). Витьку она любила. Над верхней губой у Витьки всегда были две желтые сопли, которые мать собственноручно утирала. «Выбей нос!» — приказывала она и тут же ловко одной рукой хватала его за нос, а другой — за шею. Витька трубно сморкался, и мать тщательно вытирала пальцы о забор.

Через несколько дней взволнованная Людка позвала меня: «Иди смотри, если мне не веришь». Мы побежали за сараи. Несколько девчонок стояли смирной кучкой, а в центре красовалась Иришка, придерживая подбородком подол платья. На ее сандалиях лежали блеклые трусы. Витька сидел на корточках и, изогнув шею, смотрел, как та не спеша раздвигает руками розовую трещину. Грязным пальцем Витька провел по ней и сунул палец себе под нос. «Фу!» — сказал он, сморщился и заулыбался. Я взяла камень и ударила ему в лоб. Появилась кровь. Все разбежались. Я испугалась. Витька медленно шел домой и сипел своими больными связками на весь двор. Маме я сказала, что Витька лазал девчонкам в трусы и я его ударила.

Пришла Витькина мать, скандалила. Мама приказала мне

войти в дом и закрыла за мной дверь. Я не слышала, о чем они там говорили.

Весна

В Феодосию весна приходила рано. Земля только начинала дышать, а горы уже покрывались легким пухом первых трав. Ранние цветы были самыми красивыми. Фиалки поражали своей живучестью. Перевернешь камень, а там — целое семейство фиалок на скрюченных ножках испуганно смотрит на тебя желтыми точечными глазами. Мы с девчонками часто ходили в горы, возвращаясь с большими букетами и венками на головах. Маленькие ирисы разных цветов, карликовые пионы всевозможных оттенков, маки, левкои, гиацинты, ромашки. Были цветы, которым мы давали свои названия: вилочки, собачки, столбики, горошек, кашка… Мама нас ругала за охапки: «Какие вы ненасытные! Они же хотели жить, а вы их убили!» Ей редко нравились букеты. Она любила, когда стояло несколько фиалок или подснежников, ландышей в маленьком глиняном кувшинчике. «Много — не может быть красиво. Красота не может быть в избытке», — говорила она.

Воздух

Однажды весной я видела зеленый воздух. Прошел мощный ливень, который закончился так же внезапно, как и начался. На веранде протекла крыша, образовалась лужа. А в палисаднике ведра и тазы звенели от капель с крыш на разные лады. Папин старый верстак, стоявший в палисаднике под виноградником, набух и стал черным и блестящим, как пианино. Наши кошки, почувствовав, что стихия прошла, запросились на улицу и, отряхивая лапы, стали пробираться вдоль стены под карнизом, с любопытством втягивая носом мокрый теплый воздух.

Мы вышли на улицу и ахнули: вокруг стало зелено, как будто смотришь сквозь зеленое стеклышко. Подошли соседи и тоже стали обсуждать это необычное явление. Через какое-то время эффект улетучился, но я и сейчас помню, как было необычно красиво и как всем было весело от этого.

Около Японского сада в пруду утки. Они дерутся за хлеб, который им бросают, и селезни, отбирая добычу, клюют уток в затылок. Те не обижаются. На дальнем конце пруда замечаю несколько необычных уток, кремовых с охристым подпалом, более крупных. Может, это гуси?

Гуси

Мама не могла себе даже представить, что я не буду учиться музыке, поэтому она решила подготовить меня к поступлению в музыкальную школу. Когда-то в ней училась мама, теперь — Нанка. Настала моя очередь. Мама нажимала клавишу, и я должна была спеть эту ноту, потом я отворачивалась, и мама снова нажимала, а я должна была угадать, где она находится. Отхлопывали ритмы, были еще какие-то игры, но самое интересное и легкое — это песенки. Мы выучили «Дует ветер озорной, лает пес Буянка…» и «Гуси прилетели и на море сели, но соленую водицу гуси пить не стали». Перед прослушиванием мама спросила, боюсь ли я? А я не понимала, чего бояться, ведь это так здорово — выступать!

За столом, покрытым бархатной красной скатертью, сидели люди и улыбались. Я все сделала, как мама меня учила: нотки отгадала, ритмы прохлопала, «Буянку» спела и затянула «Гусей». А про гусей песня грустная, и у меня стали невольно наворачиваться слезы. Мужчина в очках меня спрашивает, отчего же я плачу? А я говорю:

— Гусей жалко!

— Отчего же жалко?

— Они гордые!

— Почему гордые?

— Соленую воду пить не стали!

Все засмеялись, и я тоже. А потом думаю: что же это я расплакалась, мама будет недовольна, и, уходя, без всякой просьбы комиссии станцевала. В школу меня приняли. Когда мы шли домой, мама сказала: «Гусь — гордая птица? Может быть. Но знай: гордым в жизни ох как тяжело». Я тогда поняла, что мама тоже не стала бы пить соленую воду. И я не буду.

Яблоки

Когда Копчик появлялся у нас во дворе, всем хотелось коня чем-нибудь угостить. Однажды я вспомнила, что у нас на веранде лежит целая сетка яблок. Я побежала домой, взяла штуки три и вернулась обратно. Копчик очень аккуратно брал яблоко с открытой ладони, а в это время его можно было гладить по морде, по бархатному носу. Он очень быстро ел, поэтому мне пришлось бегать не один раз за новой порцией. Когда пришла мама, яблок не было. Она помолчала и сказала: «Если бы у меня был сад, я бы яблоки раздавала, но у меня нет сада, а есть две девочки, которых я должна кормить. И мне это нелегко!» Сразу стало жалко Копчика, себя и маму.

Уксус

«А у Вали ребеночек умер, — страшным шепотом сообщили мне девчонки, — пойдем посмотрим?» Там, где мы жили, ходить смотреть на покойников было делом привычным. К детям, которые входили в дом покойника, было уважительное отношение, если не сказать, особенное. Мы подходили к гробу, смотрели, выходили, опять входили, и никто из нас не шептался, не улыбался. Соблюдался траурный ритуал. Взрослые же тихонько поскуливали в углах и сообщали нам так, как будто мы не знали, что в доме покойник: «Вот, деточки, дядя Петя умер! Он вас, деток, любил! А теперь, вот, взял и умер!» Мы недоверчиво соглашались, хотя помнили, как дядя Петя нас гонял, когда мы по вечерам горланили песни около его дома.

А тут ребеночек! Валин! Вале было около тридцати, и жила она с матерью. Мать была некрасивая и мужиковатая, а Валя — красивая и тихая, с длинными русыми волосами, худенькая. Правда, иногда попивала. Тихо так попивала. Иногда соседи видели, как она возвращалась домой на скошенных каблуках, с трудом попадая в свою калитку. Беременной ее никто не помнил. Просто за зиму она немного пополнела, и вдруг весной родился ребеночек необыкновенной красоты. И — умер!

Мы с девочками вошли в плохо освещенную комнату. Никого не было. Валя сидела за круглым столом с прямой спиной, сложив руки перед собой, как примерная ученица за партой. Перед ней лежал большой круглый торт. Приглядевшись, мы поняли, что это и есть ребеночек, просто он обложен цветами и лентами. Кружевная куколка. Валя не плакала. Мы постояли. Валя не обернулась. Вошла ее мать, закурила папиросу и вышла. Мы тоже вышли.

После похорон Валя отравилась. Выпила уксусную эссенцию. Ее с трудом нес в больницу дядя Виктор. Голова у нее в судорогах запрокидывалась, изо рта текла какая-то жидкость, ноги бесстыдно корячились, а сзади босиком по талому весеннему снегу бежала почти раздетая мать и истошно кричала. Валя выжила и продолжала жить, только подурнела и на лице появилась какая-то гримаса. Она стала похожа на мать. Издали можно было принять их за сестер. Встречая ее, я вежливо здоровалась, но старалась на нее не смотреть. Была какая-то неловкость оттого, что, вот, я живу себе, а ее ребеночек умер.

На главной аллее сажусь на скамейку, звоню по мобильному Катьке. Долго не берет трубку. Наконец взяла.

— Ты встала?

— Сейчас встану.

— Не сейчас, а сейчас же! Опоздаешь в универ!

— Мама, у нас первую пару отменили. Мне к часу.

— Все равно вставай!

— А ты где?

— В Ботаническом.

— Холодно?

— Дождь моросит.

— А что поесть?

— Блинчики.

— О-о-о!

— Вставай, слышишь?

— Мама, не будь занудой! Еще полчаса посплю и встану! Мам, деньги на телефон мне положи! Пожалуйста!

— Не собираюсь! Сама выйдешь и положишь!

— Какая ты вредная!

— А ты вставай!

— Да встала уже я!

— Точно?

— Ну, встану сейчас!

— Ладно, давай. Я еще не скоро.

— Давай.

Утро

Соседка тетя Полина каждое утро, ровно в восемь, выйдя на крыльцо, чихала десять раз. Это были местные куранты. По ней можно было сверять часы.

Мама всегда вставала раньше нас. Здорово было сквозь утренний сон слышать, как мама вбивает крем в щеки, шуршит газетами, разговаривает с кошками или стучит на швейной машинке. Или с веранды доносится звук натираемой на терке морковки. Или плюется яичница на сковороде…

Но были и менее радостные пробуждения. Мама входила в спальню и заводила волынку: «Интересно. Что же это получается? У меня две девочки, и обе спят. А вот Оля Кардонская уже давно встала, умылась, почистила зубы, позавтракала, сбегала за молоком, полила цветы, подмела палисадник и сейчас, наверное, уже на море. А мои девочки спят. Правильно. Зачем им вставать? Это Оля Кардонская рано встала, умылась, почистила зубы…» Мы нервно сбрасывали одеяла, свешивали ноги с кровати и ловили себя на мысли, что эта Оля Кардонская у нас сегодня точно дождется. А Оля была самая обыкновенная девочка: тихая, две косички, из полной благополучной семьи, и вообще ничего особенного. Бегала она плохо, интересного ничего не придумывала, голос слабый (гланды вечные). Когда мы с Нанкой, наигравшись до темноты — голова мокрая, лица красные, глаза шальные, — шли домой под маминым конвоем, мама, сердитая, со скакалкой в руке, приговаривала: «Вам бы только шлындать с утра до вечера! Оля Кардонская, наверное, уже уроки сделала и книжку давно читает! А им хоть бы хны! Босота, одним словом! Что из вас получится? Вот Оля Кардонская…»

Когда нам уже было за двадцать и жизнь в Городке осталась далеко позади, Нанка закончила консерваторию, а я училась в столичном театральном институте, и нам, как в детстве, хотелось утром подольше поспать, мама садилась на своего конька: «Интересно. Что же это получается? У меня две девочки, и обе спят…» Мы с Нанкой в один голос продолжали: «А что, Оля Кардонская уже встала, умылась, почистила зубы?» Мама смеялась: «А ну, вставайте! Мне без вас скучно! Вам бы только передразнивать меня. Смеются они над матерью!»

Первое сентября

Перед учебным годом в семьях, где были дети, начиналось нешуточное шевеление. Рано утром родители с озабоченными лицами вели за руку своих детей на школьный базар около местного рынка. Шумная толпа кипела, вспучивалась, перемещалась живыми жирными гусеницами от одного места к другому и, казалось, сжирала на своем пути все, что ей попадалось.

Вымученные покупками, но довольные, семьи возвращались домой, как вьючные ослы. Дети на радостях давали обещания приносить в новых дневниках только пятерки, а родители изо всех сил пытались убедить себя, что именно так и будет, предчувствуя обратное.

На торжественной линейке первого сентября, когда в воздухе уже ощущается чуть заметная осенняя прохлада, толпилась во дворе хорошо отутюженная черно-белая ученическая братия. Освежалась эта унылая картина вспышками красных галстуков и букетами цветов. Огромные головы георгинов соседствовали с тяжелыми пиками гладиолусов и серьезно отягощали тонкие руки новобранцев. Разноцветные астры пахли пылью и навевали тоску. Громкие приветственные речи учителей с трибуны ничего хорошего не обещали.

А всего в километре от школы стояло еще теплое море…

Нас было четыре подруги, и все мы попали в один класс. После первых в жизни уроков шли вместе домой. Тащили на себе тяжелые клеенчатые ранцы, теребили в руках атласные банты, сорванные мальчишками с наших голов. Усталые, потные от потасовок с новоявленными одноклассниками, шли молча. Дорога домой была не короткой: в гору, потом с горы мимо летнего кинотеатра, мимо генуэзских крепостей, мимо дома сторожихи буйков, бабы Фроси, через мост и вверх, мимо армянской церкви. На полпути догнала нас и пристроилась рядом толстая Маринка, которая была на год старше. «Привет, первоклашки! А вы материться-то хоть умеете?» — сразу спросила она. «Умеем», — устало ответили мы. «А ну-ка!» — потребовала Маринка. «Ну, сука там, блядь…» Перечисляли неохотно. «Мандавошка», — нашлась Лилька. «А громко можете?» Повторили погромче. «Эх, вы!» — огорчилась Маринка и вдохновенно заголосила на всю округу витиеватым матом. Выдохнула и побежала в гору, тряся косичками. Мы остались стоять, очарованные силой слова и такой бесшабашной

смелостью. А с горы спускались курортники и с ужасом смотрели на нас.

Правда жизни

Когда мне надоедали куклы, я играла во взрослую жизнь. Становясь на табуретку, чтобы быть повыше, на голову обручем повязывала белую ленту и начинала переливать воду из одного стакана в другой. Продавщица газировки! Игра была увлекательной и долгой. К приходу мамы я оказывалась мокрой с головы до пят, а на полу — разливанное море.

Чуть позже нестерпимо захотелось стать кондуктором. Я ставила стулья в два ряда, как в автобусе, цепляла на шею сумку (вместо длинного ремня — привязанная к ручке сумки веревка). На палец — рулон самостоятельно сделанных билетов. И, покачиваясь между рядами, развязно повелевала: «Обилечиваемся, граждане! Проходим, не задерживаем посадочку!» Кокетничала с пассажирами и, проезжая ухабы, с трудом удерживала равновесие.

Став постарше, я надевала мамино платье, туфли на высоких каблуках, делала себе огромные груди из скомканной газеты и начинала играть в училку. Как-то так само собой получалось, что из доброй учительницы я очень скоро становилась злой. Сначала своих учеников (кукол) хвалила и ставила им пятерки, но такое образцовое поведение учеников и учителя мне быстро надоедало, и я меняла тактику. Появлялся какой-нибудь двоечник, на котором можно было отыграться.

В игре все очевиднее проступала жизненная правда: я покрикивала, цепляясь к любой мелочи, была строга, ставила колы, унижала, кричала, швыряя журнал на стол. Потом за нерадивого ученика вступался весь класс, и начиналась просто базарная перепалка. Мы кричали друг на друга, я вызывала родителей. С ними тоже разговор был короткий. Навалившись шуршащей бумажной грудью на стол, я начинала с душеспасительной беседы, но очень скоро входила в раж и в запале грозилась выгнать к чертовой матери родителей из кабинета, а их маленьких чудовищ — из школы. Преображаясь на минуту из училки в чьего-то отца, я выплевывала в ее адрес страшные ругательства, и та, трепеща, затихала. Снова становясь учительницей и засунув в рот карандаш, изображавший сигарету, я нервно и глубоко затягивалась и притворно рыдала от незаслуженных оскорблений.

Наигравшись вдоволь, устав как собака, я еле волокла ноги. Переодевалась, собирала несчастных разбросанных кукол и, измученная правдой жизни, садилась за уроки.

Мопассан

Я зашла к Маринке, потому что увидела у нее в палисаднике халабуду. Халабуда — это такой домик, сделанный из тряпок, которые вешались на веревки и крепились прищепками. Как только приходило тепло, у детей начиналось строительство халабуд. Туда затаскивались куклы, подушки, одеяла, еда всякая, и целый день шла взрослая самостоятельная жизнь. Кто-то был мамой, кто-то папой, кто-то дочкой.

Маринке было уже двенадцать лет. «Залезай», — пригласила она. У нее было уютненько, правда, кукол не было. Лежал матрас на продавленной раскладушке, прикрытый старым гобеленом с оленями, стояла отпитая бутылка лимонада «Дюшес», маленькая пачка с кукурузными хлопьями, а сверху, на виноградной лозе, висело небольшое зеркало. «Что делаешь?» — спросила я. «Читаю», — как-то нараспев ответила Маринка. «Что читаешь?» Маринка полезла под раскладушку и вытащила книгу. «Рассказы. Ги де Мопассан».

— В библиотеке взяла?

— Дура! Это взрослая книга. Мне квартирантка дала, она у матери стащила. Тебе такие читать рано. Ты еще маленькая.

— А ты большая?

— Большая! У меня грудь растет, а у тебя нет!

— Врешь. Покажи!

— Да на! — Маринка резво распахнула халат, и я ахнула.

На меня нагло смотрели две настоящие сисечки! Маленькие, но настоящие!

— Можешь потрогать, — предложила Маринка.

Я ткнула пальцем.

— Не так! Смотри, как надо. — И она стала сжимать и мять свои груди, соединять локти и наклоняться, чтоб они казались больше, оттягивать их за соски.

Я обалдела от того, как Маринка быстро научилась с ними обращаться, и даже зауважала ее.

— Это я делаю, чтоб быстрее росли, — облизывая пот с верхней губы, пояснила Маринка, — только, гад, больно, — кряхтела она. И успокоила меня: — Ты потом тоже намастыришься. У меня еще волосы растут. Я их в зеркало разглядываю, — с гордостью добавила подруга.

Тут хлопнула калитка и Маринка запахнулась. Во двор вошел ее брат, недавно вышедший из тюрьмы. Я заторопилась домой.

— Постой! Никому не говори, поняла?! Скажешь — пожалеешь!

— Клянусь! — сказала я и честно посмотрела Маринке в глаза.

Я бежала домой и с завистью думала: везет же людям!

Открывая нашу дверь, я закричала с порога:

— Нанка, иди сюда! Я тебе сейчас такое расскажу!..

«Горный»

В те времена, когда телевизоров почти ни у кого не было, кино в Городок привозили на машине и показывали на белом полотне. Это у нас называлось «Кино на простынке». На приезжавшего киномеханика смотрели как на бога. Городошные тащили стулья, табуретки, и прямо у окна нашего дома начиналось кино. Иногда пленка рвалась, тогда зрители возмущенно требовали сдать «кинщика на мыло». Пока пленку чинили, народ разминал ноги и курил — в «зале» курить не полагалось. После фильма механик, он же шофер, выслушивал пожелания к следующему показу и уезжал, оставив надежду на свидание через неделю.

Когда я и Нанка уже самостоятельно передвигались по городу (а это произошло очень рано), мы бежали в центр в кинотеатр «Пионер» и в сотый раз смотрели «Морозко». В первом ряду обычно сидели близнецы-дауны, брат с сестрой. Они комментировали каждый поворот сюжета и были для нас неотъемлемой частью просмотра. Приходя в зал, мы первым делом проверяли, на месте ли близнецы. Если да, сегодняшний просмотр будет удачным; если нет, в душе поселялась какая-то непонятная тревога. При их появлении кто-то обязательно срывался с места и провожал брата с сестрой на «законные» бесплатные места.

Песню из фильма «Неуловимые мстители» мы, дети, знали наизусть и хором подхватывали ее. А в моменты особенно напряженные многие возбужденно вскакивали, вступая в диалог с персонажами, и дальше смотрели фильм стоя. Уходя, выбирали себе роли:

— Чур, я Данька!

— А я зато цыган!

— А я буду Лютый.

— Ты дурак? Ты должен быть Валеркой! Ты чего, белым хочешь стать, гнида?

— Хочу! Сам гнида!

Могла возникнуть и драка, а мы, девочки, стояли в стороне, с любопытством поглядывая на героев наших будущих романов.

Однажды мы с Нанкой пошли в кинотеатр «Украина» на фильм «По следу тигра» про югославских партизан. После окончания его Нанка стала так рыдать и убиваться по погибшему главному герою, что мне пришлось ей объяснять: актеры остаются в живых и даже получают за роли деньги. На улице нас обступили взрослые, выясняя причину нашего горя, и мне пришлось соврать,

что у нас умер папа. Назвать истинную причину было стыдно (Нанка была ведь уже здоровая дылда двенадцати лет). А что умер папа — ведь правда.

«Горный» — летний кинотеатр на Мосту (так называлось место, где раньше был средневековый мост). В Крыму рано темнеет и сразу ложится ночная прохлада. Все, кто шел в кино, брали с собой пальто или одеяла и сидели, тесно прижавшись друг к другу, на длинных голубых скамейках. В «Горном» часто крутили фильмы «детям до шестнадцати», и мы с Нанкой, естественно, туда не попадали. Но около кинотеатра находилась Генуэзская башня с широкой стеной, откуда все хорошо было видно и слышно. Вот туда мы и бегали, когда мама думала, что мы находимся где-то рядом с домом. Залезать на высокую стену было опасно, да и боязно, но все, кто хоть чуть-чуть себя уважал, это делали, а иногда затаскивали туда своих братьев-сестер почти младенческого возраста (не оставлять же их внизу!).

Насмотревшись «Анжелики» — поцелуи в высоко дышащую грудь, разметанные по подушкам волосы, томные глаза, — мы, окоченевшие и дрожащие, в кромешной темноте, оглашаемой детской матерщиной, на ощупь спускались со стены, в любой момент рискуя упасть и расколотить себе череп. Пацаны, пользуясь полным мраком, пытались определить неровности на девичьих целомудренных телах, но те лягались не хуже горных серн. Это было очень опасно на такой высоте. Часто, благополучно завершив спуск, дети натыкались на облаву чутких родителей, вооруженных ремнями, скакалками или просто куском шланга. В полной тишине начиналась беготня, мучительная для обеих сторон.

А мы все равно мужественно смотрели взрослые фильмы тем же способом, просто спускались уже с другой стороны стены, почти отвесной, где зато нас никто не ждал. От греха подальше! Правда, меня и Нанку мама не подозревала в таких шалостях, да и мы были осторожны. Берегли ее.

Шмакатурша

Так звали ее и за глаза, и в глаза. Настоящим именем — Вера — звали редко. Жила она одна. Это была вечно пьяная старая портовая шлюха. В ее доме часто гуляли рыбаки, и через раскрытые окна можно было наблюдать за драками, которые неизменно начинались, как только заканчивалась выпивка.

Прическа рыжей Шмакатурши напоминала птичье гнездо или клоунский парик, хотя волос было мало. Помню ее губы в ядовитой помаде — всегда мокрые, разъезжающиеся в дурашливой улыбке или выплевывающие ругательства. Случалось, что гости выгоняли ее из собственного дома, и она, громко матерясь, рыдала под дверью. Ругаться она умела, как никто другой. К ней часто приставали дети: «Шмакатурша, а ну-ка матюкнись!» — и дергали ее за юбку. Она пыталась догнать обидчиков, привычно материлась и этим вызывала у шпаны восторг. Когда напивалась до чертиков, бралась за топор, и ее забирали в милицию. Иногда дом ее долго оставался без хозяйки, на двери болтался ржавый замок. Все уже начинали думать, что Вера где-то сгинула спьяну, но она вновь появлялась, и опять начиналась кошачья свадьба. Кстати, кошек у Шмакатурши в палисаднике было полно, и все они напоминали хозяйку: облезлые, полудикие, как будто пьяные.

Шмакатурша была стыдом наших женщин. Не раз они пытались вразумить ее, усовестить и через забор выговаривали ей за то, что она, лярва, прямо в своем палисаде, на глазах у соседей, барабанит струей мочи в ведро. Шмакатурша слушала, покорно кивала, но, повернувшись спиной, оголяла тощий зад, азартно шлепала по нему и, входя в дом, громко хлопала дверью.

Однажды, возвращаясь из музыкалки и проходя вдоль сараев, я увидела старших пацанов из седьмых-восьмых классов, которые ловили Ваньку, моего сверстника, и толкали его к какому-то человеку на земле. Присмотревшись, я узнала Шмакатуршу, которая полулежала у стены с задранной юбкой и согнутыми в коленях расставленными ногами. Она была без трусов и звала к себе Ваньку. Ванька вырывался и истошно кричал, но пацаны схватили его за шею, ткнули его Шмакатурше между ног и так держали. Шмакатурша радостно визжала, пацаны ржали.

Другой дороги домой не было, и я пошла вперед, покачивая нотной папкой. Меня увидели, Ваньку отпустили. Я поздоровалась со всеми.

Так мы росли…

Коса

Очень хотелось иметь косу. Длинную и толстую. Однажды, найдя наволочку, туго набитую нитками мулине, я сплела себе достойную косу. Привязав ее покрепче к своим коротким волосам, решилась показаться людям. С такой красотой не стыдно было выйти на улицу. Вокруг меня стояли девчонки и откровенно завидовали. Я клала косу на грудь, потом, качнув головой, отбрасывала на спину, нежно поглаживала и щекотала ее кончиком нос. Бегая с девчонками, я незаметно для себя потеряла ее. А возвращаясь домой, вдруг увидела, как мальчишки моей косой молотят по луже. Молча глядя на этот нещадно терзаемый грязный пучок ниток, я стиснула зубы и не заплакала: «Дождетесь у меня, изверги! Вырастет у меня настоящая коса! То-то вы запоете!»

В восемнадцать лет волосы у меня были по пояс…

Горба

Горба — это горбольница. Она находилась в двух шагах от нас за высоким каменным забором. Одним из наших любимых развлечений было перелезть через забор и поглазеть в окна морга, поискать шприцы на больничной помойке, натырить шелковицы. В конце концов, поболтать с больными, словоохотливыми, как и мы.

Морг притягивал нас магнитом. Если повезет и марля будет закрывать окно не полностью, можно увидеть голых или одетых мертвяков, как их бреют в паху, перетаскивают с одного железного стола на другой. Старики не вызывали у нас сожаления своими кверху поднятыми подбородками, а младенчиков было жалко. Перед моргом часто случались душераздирающие сцены. Все они били по нервам, но мы себя заставляли их смотреть. Так мы закалялись. Нас гнали, но от нас трудно было избавиться.

Весной Горба была красивой. Цвели плодовые де ревья, заглушая больничный запах, и скамейки были забиты ходячими больными, и кошки рожали помногу котят, и те были такие потешные, и загипсованная молодежь пыталась тискаться в зарослях сирени. На балконах нового корпуса гинекологии часто стояли тетки в коротких халатах, и пацаны снизу любовались их бритыми лобками. Тетки знали это и добродушно смеялись, подставляя свои подолы весеннему ветру.

Кое-кто из наших домов брал помои из больничной столовой для своей скотины. Высокий и широкий каменный забор не обходили, а перелезали через него, отчего в камне уже выдолбились вмятины. Часто какая-нибудь баба оказывалась на заборе в совсем непотребном виде, а сосед снизу неожиданно с ней здоровался. Баба ойкала, трещала юбка, и как-то само собой баба сваливалась на руки везучему соседу.

Около забора находилась травматология, и на крыльце часто курили больные в байковых застиранных халатах. В то солнечное утро, перелезши через забор, орава девчонок шла за шелковицей. Вдруг один мужчина позвал меня. Мы остановились, я подошла. Он посмотрел на меня и крикнул кому-то: «Петрович, смотри!» Петрович посмотрел на меня. Я — на него. «Красивая! Страшно подумать, что будет твориться с мужчинами, когда вырастет!» — заключил Петрович. Они улыбались. Я подбежала к девчонкам, и мы пошли дальше. «Дураки какие-то!» — сказала Лилька. Все остановились и посмотрели на меня. «Конечно, дураки!» — подтвердила я и засмеялась. И вдруг почувствовала себя счастливой. Что-то произошло. И они тоже это почувствовали. В

тот день мы не стали тырить шелковицу. Произошло что-то.

На берегу пруда несколько рыбаков. Подхожу ближе. Вдруг из кустов кто-то в плащ-палатке выходит прямо на меня, поправляя штаны. Приглядываюсь — старушонка с плоским лицом. Сморщенное, доброе личико. Улыбается.

— А ты хто?

— Никто. Человек. Просто смотрю. Красиво.

— А! А я с мужиком своим.

— Рыбу ловите?

— Какая рыба? Нету. Сидим тока.

— А вы?

— Я? Я с им. Он без миня не сидит. Счас студено тут стало. Сс уся.

— Что?

— Ссуся! Студено!

— А-а! Понятно. Вы теплее одевайтесь. Главное, чтобы ноги в тепле были. А лучше дома сидите. Пусть один ходит.

— Хто?

— Да мужик ваш!

— Не-е! Он один не будет сидеть! Я с им хожу.

— Какой смысл удить рыбу, если ее нет?

— Не знаю. Ходить. Прывык!

— Давно ходите?

— В зиму десять лет будет. Мы с-под Мурманска с мужиком моим. К детям перебралися. Теперь сидит тута. Я с има. Без меня не можеть сидеть. Кашляить тока много, а я ссуся. Студено. А у тебя есть мужик?

— Есть.

— Ходит?

— Куда?

— Сидит?

— А, нет. Он не рыбак.

— А мне рыбак, ишь, попалси. — Она мелко рассмеялась.

— Ладно. Не буду вам мешать. Пойду.

— Мы тута. Здеся. Приходи.

Рыба

Мы жили на горе, а внизу располагался рыбсовхоз, куда мы детьми бегали за рыбой или просто поглазеть на улов. Стоя наверху, мы вглядывались в горизонт, где из-за мыса Ильи должны были показаться наши фелюги с привязанными к ним байдами (большими лодками). Если издалека было видно, что байды утоплены в море по самые борта и фелюги идут тяжело, значит, улов хороший. Тогда мы бежали вниз.

Самым интересным было смотреть, как разгружаются. В фелюгах обычно была большая рыба: скат, камбала, катран (черноморская акула), иногда попадали в сети дельфины. В байдах же — рыба помельче: кефаль, ставридка или еще мельче — царская барабулька, хамса. На рыбацком мостике стояла железная тележка, куда крюками забрасывали большую рыбу или ставили корзины с уловом. Потом эту тележку тянули на берег и там уже сортировали. На берегу стояла большая мясорубка, в нее швыряли еще живую рыбу. В основном туда отправлялись скаты, катраны (потом этот фарш шел как корм на птицеферму). Дельфин, запутавшийся в сетях и порезавшийся ими почти до хребта, был трофеем нежелательным, и видно было, что рыбаки с горечью смотрели на его окровавленную тушу.

Байды разгружались веселее. Рыба прыгала, зеркалила на солнце и не хотела покидать лодку. Мелочь выгребали корзинами. Рыбаки, народ суровый, неприветливый, цыкали на нас матом, если мы попадались под руку, и нужно было дождаться минуты, чтобы жалобно мяукнуть: «Дяденька, а можно мы помоем байду?» Получив разрешение, мы саранчой набивались в лодку и наполняли полиэтиленовые пакеты остатками рыбы. После мытья лодки важно шли домой с добычей: кто жарить, кто вялить, а кто и продавать. Рыбаки же носили рыбу покрупнее — кефаль, ставриду, камбалу, хвост которой волочился по земле.

То, что в средней полосе называют камбалой, — это лосики! А камбала — рыба огромная, с небольшой стол, толстая, мясистая, с каменными круглыми шипами-бляшками, похожими на пуговицы, с нежным мясом и клейким жирком. Тот, кто когда-нибудь ел ее, будет помнить всю жизнь! Нет ничего вкуснее жареной камбалы! В нашем Городке всегда пахло жареной рыбой, и запах этот никогда не выветривался. А жарить рыбу у нас умели!

Всякую мелочь сушили под крышами домов. Под каждым карнизом серыми прищепками болтались связки хамсы,

маленьких ставридок и азовских бычков. Под покровом ранней крымской ночи шпана срывала чуть присушенные связки и пировала в ближайших зарослях бурьяна.

Да что говорить! Рыба у нас была, и мы в ней толк понимали!

Дельфин

Мы стояли у рыбацкого причала и смотрели, как возвращаются рыбаки. Уже издалека было видно, что судна идут пустые. Лодки, привязанные к фелюге, болтались бессмысленно и беззаботно легко. Причалив к мосткам, хмурые рыбаки, привычно разбивая скупые слова пышным матом, собирали снасти. Потом по мосткам подкатили тележку и, кряхтя, взгромоздили на нее тяжелое тело дельфина. Он был мертв. В нескольких местах его ременная кожа была порезана сетью, как топором, и оттуда светился белый жир. Дельфины, гоняясь за рыбой, часто путаются в сетях, в панике начинают рвать их и, запутываясь еще больше, в конце концов умирают от ран. Рыбаки не любят таких подарков.

К фелюге подошла баба из нашего Городка. Посверкала металлом во рту, сплюнула папироску в море, взяла у рыбаков веревку, привязала ее к хвосту дельфина и, синея от натуги, поволокла к себе домой топить жир. Никто не помогал ей. Тянуть было неудобно. Тогда она обмоталась веревкой, впряглась в самодельную лямку и стала, почти лежа, цепляясь за редкие кусты ковыля, тащить его в гору. Дельфин иногда переворачивался, показывая то черную спину, то белый живот, напоминая покойника в костюме. Через короткое время у этой женщины погиб взрослый сын (утонул спьяну).

Вот для чего я прихожу в Ботанический! Ради этого места, где кончается парк и начинается живой лес. Я люблю стоять здесь одна в абсолютной тишине. Я не хочу думать, как мне жить дальше, вернее, как мне приспособиться к моей жизни. Нет больше проблем, они остались где-то далеко, там, где люди. Одна, вторая, третья… шесть! Шесть белок крутятся под самым моим носом и своим бесстрашием дают понять, что мы здесь на равных правах. Это лес мой и их. А вот и редкой породы дятел, за которым гоняются все местные фотографы. Он не любит показываться людям, не то что синицы, но меня, видно, не считает за человека, и я рассматриваю его хорошенько. Он замечает, что я смотрю на него, и, в свою очередь, наблюдает за мной. Я не шевелюсь, он не шевелится, мы замерли, смотрим друг на друга. И мне начинает казаться, что он про меня все знает и даже жалеет почему-то. Хочется плакать от восторга и от чувств, которым я не могу дать названия. И становится не страшно ни быть, ни умереть.

Кто-то идет. Вообще, когда ты в лесу и никого нет рядом, чувствуешь себя спокойно и светло, а стоит увидеть человеческий

силуэт, становится не по себе. Но это женщина. В руке у нее пучок веток с почти прозрачными, как будто из кальки вырезанными, круглыми листьями. Она грузная и издает при ходьбе свист — то ли от шуршания болоньевого пальто, то ли от астмы. Я сторонюсь, уступая ей сухое место на тропинке. Она проходит мимо меня опустив глаза, потом останавливается, поворачивается и говорит: «Здесь нельзя собирать растения, но сейчас уже дожди пошли (свистит), и они все равно сгниют. Я их от семян отряхнула (свистит), они вот здесь были (показывает на прозрачный листик), сейчас их поставлю в вазу (свист). Без воды. Могут хоть десять лет стоять, ничего им не будет. Я сдохну, а они будут стоять (смеется). Пыль стряхнуть, и все. Их скосили (свист) целую лужайку. Вон там, где упавшее дерево пилят…» И пошла.

Деревья

Белая акация! Неповторимый запах крымских романов. Часто можно было видеть, как идет девчоночка в белых туфельках, а рядом парень в матроске. В руках она теребит кисточку акации. Прячет ее в кулаке и медленно ласково пропускает через сомкнутые пальцы. Пушистый заячий хвостик! И неудобно матросику девушку за руку взять, руки-то у нее акацией заняты! А она все нюхает эту душистую гроздь, как целует, а он томится и бледнеет только, но за руку не берет. Акация мешает. Так и идут порознь, с сухими впалыми глазами от кружений по городу в поисках удобного момента для прикосновений, поцелуя… Потом кисточки акации, замученные в потных нервных ладонях, остаются забытыми в скверах на городских скамейках и вянут, издавая последний сильный предсмертный запах чьей-то страсти.

А когда отцветут пышные белоснежные гроздья, вместо них появятся большие зеленые стручки. Со временем, превратившись в коричневые картонные ленты, они будут извиваться под ногами и лопаться, выбрасывая мелкий горох. И если прольется дождь, лужи станут черными, как от йода, и терпко запахнет воздух.

Серебристые тополя в Феодосии — вдоль набережной, вдоль улицы Горького, перед кинотеатром «Крым» — были всегда огромными. Сколько им лет? Не знаю. Их корни легко вспарывали асфальт, и прохожие с проклятиями ломали о них каблуки и ноги. При ветре листья переворачивались светлой бархатной стороной и трепыхались, как белые птицы. Ствол, тоже белый, отдающий зеленцой, кое-где потрескавшийся, создавал впечатление расписанного иероглифами. Толщина ствола была такой, что за ним можно было спрятаться не одному человеку.

Однажды мы с мамой ехали в автобусе, я стояла, держась за поручень, и глядела на дорогу через водительское стекло. Впереди ехал грузовик, в кузове стоял большой контейнер, а прислонившись к нему спиной, сидели три морячка и строили мне веселые рожи. Около поликлиники, на повороте, вдруг что-то случилось. Вся эта картинка стала заваливаться, перекашиваться и совсем исчезла, как будто порвалась пленка во время демонстрации фильма. Автобус вздрогнул, дернулся, все закричали. Двери открылись, и пассажиры побежали к грузовику. Все, кто был на улице и в автобусе, полезли через борта в грузовик и стали поднимать упавший контейнер. Потом что-то стали носить. Мама пыталась увести меня, но тут какой-то женщине стало плохо, и мама начала приводить ее в чувство. Вдруг я увидела, как понесли что-то странное, короткое,

аккуратно сложенное с расплющенными бескозырками.

А тополь, зацепившись за который упал контейнер, по-прежнему разводил в стороны свои ветки. После этого случая ветки спилили, и он стоял безрукий, еще более страшный…

Самый высокий в Городке — папин вяз. Наш маленький палисадник был весь под его кроной. Мы с Нанкой лазали по его стройному телу на самый верх и снимали оттуда наших неразумных котят, которые в надежде на помощь оглашали Городок мяуканьем необыкновенной силы. Весной вяз кудрявился, осыпал двор круглыми полупрозрачными фестончиками, а ветер закручивал их на асфальте в красивую воронку, перемещая ее к открытой двери веранды. Когда мы уехали в Сибирь, вяз спилили.

В моей памяти он по-прежнему жив и продолжает осыпать двор своим волшебным конфетти.

Придется дать круголя, чтоб не плестись болоньевой тетке в спину.

Я замерзла как собака. Назад надо идти в темпе, чтоб согреться. Жалею, что у меня нет палок, как у лыжника, — сразу бы согрелась. Здесь целая компания пенсионеров с такими палками ходит.

У нас в России не принято следить за своим здоровьем, стыдно как-то. Вроде ты себя любишь, а это нехорошо, некрасиво. Мол, хитрый, хочешь прожить подольше? Нет, дружок! Никакая физкультура тебе не поможет, когда срок придет и кривая пальцем поманит. Плюй на все, если у тебя широкая натура и настоящий русский характер!

«Русский лес»

«Побежали на площадку за Горбой!» — запыхавшись, крикнула мне Светка, и мы побежали. Внизу, около старой деревянной беседки, за волейболь ной площадкой стояли знакомые мне тетки и пацаны. Когда мы подошли ближе, увидели голого по пояс дядьку, а на месте пупка у него была огромная опухоль с небольшой мяч. Он плакал, вытирая грязными руками щеки. На перилах беседки стояли пузатый зеленый одеколон «Русский лес» и полбутылки водки, лежала пачка денег, сверху — гора мелочи и кусок копченой колбасы. Рядом валялся красивый большой портфель. Все молчали. Бабы украдкой щелкали семечки.

«Я не хочу умирать, слышите меня?! Я не хочу умирать! Вы меня слышите?» — вдруг стал повторять он как заведенный. «Заяц, ты меня слышишь? Слышу-слышу!» — передразнил его мой одноклассник Димка. Дядька замолчал, вынул из кармана очки и стал их протирать. Когда надел, подошел ближе к бабам и, заглядывая им в лицо, зашептал мокрыми от слез губами: «Возьмите все, что у меня есть, только сделайте что-нибудь! Я тоже хочу жить!» «Дык, мы-то здесь при чем? Что мы-то можем сделать, малохольный? — стыдливо заулыбались бабы. — Если доктор сказал „рак“, значит — все, готовься! Все под Богом ходим». Вздохнули, замолчали, но не уходили.

Дядька сел, отпил из бутылки, схватился за голову и завыл. Неожиданно Димка подошел ближе, взял деньги, одеколон и пошел прочь. «Ишь ты, курва, положь в зад, падла!» — оживились тетки, поправляя сползшие от возмущения платки. Димка, не оглядываясь, спокойно поднимался в гору. Я побежала за ним, слыша за спиной: «Шурочка, хорошая девочка, верни этого выблядка!» Димка оглянулся и рванул вперед. Мы бежали вдоль больничной стены, и я уже дышала ему в спину, как вдруг он резко остановился, повернулся ко мне и завопил что есть мочи: «Чо ты, сука, бежишь за мной?! Думаешь, он не сдохнет? Сдохнет, сука! Сдохнет, так и знай! На!» — И он с силой швырнул одеколон в стену. Я заслонила рукой лицо, а когда открыла глаза, увидела, как Димка, плача и матерясь, швыряет из кармана деньги. Подбежала Светка, собрала мятые бумажки, пытавшиеся тут же разлететься, и, высоко подняв их над головой, вернулась к беседке. Прислонившись спиной к больничной стене, сидя в облаке «Русского леса», я едва сдерживала слезы. Жалко было дядьку и почему-то стало жаль Димку. В Димкиной семье было тринадцать детей, и мать работала дворничихой. Добрая

женщина.

Чувствую, что кто-то курит. Вообще-то в Ботаническом не курят, уважают людей, которые пришли дышать чистым воздухом. Иногда встречаются дымки, но очень тактичные. Хочу курить. Пытаюсь бросить, но каждый раз срываюсь. Уже неделю не курю. А-а, вот в чем дело, понятно: трое рабочих пилят упавшее дерево, а один в стороне курит. Нравится мне их работа! Кругом лес, и ты вроде не в Москве.

Сараи

За домами стояли сараи. Почти все хранили в них дрова и уголь. Некоторые держали свиней или кур. Были даже коровы. В нашем сарае, кроме дров и угля, на широких полках валялись всякие старые вещи: атласный оранжевый абажур, папины инструменты для выжигания и выпиливания, железная, похожая на корыто, наша с Нанкой коляска, санки, пилы, ко́злы и всякий хлам.

Приезжал грузовик, сваливал у нашего сарая гору угля или кучу дров. Мама, надев черный папин прорезиненный плащ, повязав клетчатый платок, шла пилить дрова и перетаскивать уголь. Я шла с ней. Мне казалось это забавным.

Из сарая вытаскивались козлы, на них мама взгромождала тяжелое бревно и одноручной ржавой пилой начинала пилить. Постепенно вырастала гора чурбанов. К физическому труду мама была совершенно не приспособлена хотя бы потому, что носила круглые очки с толстыми стеклами. Однако, худо-бедно, у нее все получалось. Устав, садилась на чурбан, протирала платком лицо, очки и, глядя куда-то внутрь себя, как будто чему-то поражаясь, восклицала: «Треклятая жизнь!» Вечером, когда народ возвращался с работы, какой-нибудь дядька, проходя мимо, обязательно начинал помогать. Появлялась двуручная пила, и работа шла быстрее, а то и вовсе подходил еще кто-то, и тогда мама отдыхала. Потом она дрова колола, я собирала поленья и складывала их в сарай. Мама очень боялась, чтобы щепки при колке дров не попали бы мне в лицо и в глаза. «Береги лицо! Глаза! Это для женщины — все! — кричала она, в очередной раз замахиваясь топором на полено. И, смеясь, заканчивала: — Ну, еще… береги руки!» Наша мама — пианистка.

Топор

У мамы было оружие. Топор. Непонятно, в каком месте в доме она его держала, но появлялся он у нее в руках всегда неожиданно и кстати.

Нанке было лет восемь, когда, придя из школы, у порога нашего дома она увидела змею. Светло-бурое небольшое тело было помечено зигзагообразной темной полосой. «Мама, у нас змея!» В мгновение ока мама оказалась на пороге уже с топором. «Да, это не уж и не полоз. Это степная гадюка. Отвернись!» — приказала она Нанке. Накинув на змею кусок серой оберточной бумаги, несколько раз рубанула по ней точными движениями заправского повара. Выбросив на помойку изрубленную непрошеную гостью, она вымыла лицо и руки, села на маленькую скамеечку в палисаднике. Как сторож, долго сидела на пороге нашего дома с бледным суровым лицом.

Однажды ночью в дверь постучали. Не включая света, мама встала и подошла к окну. Мужской голос что-то ей тихо говорил. Мы слышали, как она строго сказала: «Иди домой. Проспись. Завтра тебе будет стыдно за свои слова», — и снова легла в постель. Через какое-то время в дверь стали ломиться. Мама подошла к окну с топором и спокойно произнесла: «Посмотри сюда. Видишь топор? Первое, что я сделаю, когда ты войдешь, — раскрою тебе череп». Стало тихо. Потом слышно было, как хлопнула калитка, — и снова тишина. «Мама, а кто это? Что ему надо?» — забеспокоились мы. «Да дядька один… Спите. Не бойтесь. Он больше не придет».

Она положила топор под кровать и легла. Слышно было, как она потом тихонько засмеялась, а может, заплакала…

Нож

Был поздний летний вечер, вырубилось электричество, и мы сидели на кухне с керосиновой лампой. Вдруг совсем рядом раздались шум и крики. Звякнуло окно нашей веранды, посыпались стекла. «Опять драка!» — с досадой сказала мама и, сверкнув очками, приказала нам сидеть, никуда не выходить. Как только мама ушла, мы, естественно, тут же оказались на веранде. Она ходила ходуном, как в шторм лодка.

Дрались соседские мужики. Фонари не работали, и следить за тем, что происходит, было трудно. Но слышно было хорошо. Кряхтели, сипели, крякали, надсадно тужились. Сшибались крепкие мужские тела, и мокрые удары по лицу отзывались дребезжанием стекол нашей веранды. Шершавя асфальт, усердно топтались ноги. Вдруг какая-то тетка высоко крикнула: «Нож!» — и все стихло. Кто-то хрипло пообещал кому-то новый срок, кто-то тихо на него согласился. И вдруг мы услышали спокойный мамин голос: «Федя, а кто мне будет завтра стекло вставлять? У меня мужа нет, как ты знаешь. Давай-ка свой нож, я тебе завтра его отдам, когда стекло вставишь». Дальше слышим: «Сима, прости! Сима, веришь, нет? Падла буду, но стекло у тебя завтра будет стоять, или я тут всех на хуй на пятаки порежу! Веришь ли ты мне, Сима?»

А наутро мама отдавала дяде Феде нож и любовалась новым стеклом на веранде.

Варвары

Мотя, Васька, Борька, Машка — поросятам обычно давали такие имена. Их кормили помоями, похлопывали по бокам, чесали за ухом, говорили ласковые слова. Те не оставались в долгу: приветствовали своих хозяев радостным хрюканьем и быстро набирали вес. Осенью их резали. То здесь, то там слышался отчаянный душераздирающий визг, и мама с тихими проклятиями, в которых звучало «варвары» с раскатистым «р», закрывала окна и не разрешала нам выходить на улицу. Если же мамы дома не было, мы, заслышав свинячий визг, пронизывавший всю округу, бежали смотреть, как совершается убийство.

Несколько мужиков загоняют свинью в тупик между сараями и, опрокинув ее на спину, наваливаются на нее и всаживают в сердце длинный, хорошо отточенный нож. Были случаи, когда свинья вырывалась и бегала с уже вонзенным ножом, а ее снова ловили и убивали.

Мы молча, не мигая, как завороженные, смотрели на эту пляску смерти. Свинья крутилась, мужские сандалии скользили по асфальту, и все хрипело, рвалось, взбрыкивало. Короткие, похожие на вскрики реплики мужиков были страшнее, чем визжащая свинья: «Давай! Держи! Сади! Еще! На! Йеха! Эхма!» Мы шумно, на грани обморока, подлавливали воздух открытыми ртами, когда оказывалось, что дело еще не сделано и жертва жива. Это была наша местная коррида. Нужно было не пропустить последний вздох, всхлип, судорогу. Нужно было поймать то мгновение, когда наступает преображение живого в мертвое.

Перед смертью свинья начинала стонать. Мужики лежали на ней, продвигали толчками нож до самой рукояти, а она своими задранными ногами обнимала их и пела им на ухо тихую спокойную последнюю песню. Что-то было любовное и секретное в этом смертном объятии.

Потом мужики свинью долго шмалили, рассекали грудину и брюхо и прямо из теплого чрева кружкой черпали кровь и пили ее, пачкая небритые подбородки. Тушу рубили, и она превращалась в обыкновенное мясо, никак не напоминающее Ваську, Борьку, Машку.

Вечером в Городке у кого-то играла музыка, пахло паленой щетиной и жареной кровяной колбасой. А мы с Нанкой никак не могли заснуть и таращились в темноту.

Любовь

У нас были две кошки. Маняша и Юся. Маняша была трехцветная, черно-рыже-белая, яркая, как лоскутное одеяло, с зелеными пронзительными виноградными глазами. Юся — дымчатая пушистая варежка с наивным бесстыжим взглядом. Родились они от одной соседской кошки с разницей в год. Характер у той и другой был атаманский. Славились они на весь Городок своими проказами и красотой. Курортники, проходя мимо нашего палисада, всегда останавливались, любуясь на них и на котят, которых кошки беззастенчиво кормили прямо под кустом сирени. Обычно кошки наши гуляли в одно время, потомство приносили с разницей в день-два, и мы обрастали котятами в мгновение ока.

Однажды, когда они во дворе вылизывали свое бесчисленное потомство, в открытую калитку вбежала соседская охотничья собака Вешка. Юся, мгновенно превратившись в дикобраза, вскочила ей на спину и пролетела таким манером по главной улице Городка, вгоняя в мистический ужас прохожих. Иногда ночью Юся ломилась в форточку с задушенной курицей. Наутро мама бежала к соседке расплачиваться за невинно убиенную живность.

Маняша же ходила на берег к рыбакам и на мели ловила рыбку. Принося ее домой, она громко звала нас, чтобы мы оценили ее еще живую добычу. Вороватая она была страшно. Однажды белым днем стащила у соседа мясо, килограмма на два весом, и волокла его через всю улицу домой. По оставшемуся мокрому следу на асфальте мама вычислила, у кого была совершена кража. Войдя к соседу, увидела его совершенно обалдевшим от пропажи. Тот никак не мог себе объяснить исчезновения огромного куска и искал его чуть ли не под подушкой. Увидев маму с мясом, он почти со слезами на глазах бросился обнимать ее. На просьбу мамы не мстить кошке рассмеялся: «Ну что ты, Сима?! Ты мне жизнь подарила! Если бы Рая узнала, что я потерял мясо, она бы меня убила!»

Неисправимая Маняша продолжала воровать. Застать ее за этим преступным занятием было невозможно. Однажды, пожарив рыбу, мама накрыла крышкой сковородку, поставила ее в шкафчик и плотно закрыла дверцу. Убедившись, что на веранде кошек нет, мы заперли дверь и ушли по своим делам. Вернувшись и увидев полупустую сковородку, мама расхохоталась: «Мерзавка! Я так и знала! Я ее когда-нибудь кому-нибудь отдам!»

Зимой наши кошки спали в кухне на буфете, когда-то

сделанном папой. Там они чувствовали себя комфортно и даже таскали туда своих котят. Мы приставляли к буфету табуретки и могли проводить часы, наблюдая их жизнь. Подросших котят раздавали, но однажды одного котенка пристроить не удалось. Так у нас появилась Мурочка. Теперь Маняша и Юся, каждая, были озабочены только тем, чтобы Мурочка сосала сиську только у нее. Стоило Мурочке лечь под бок к Юсе, как Маняша, не выдержав и пяти минут, забирала ее к себе на живот. Так и таскали ее та и другая к себе.

Вылизывали они друг друга так рьяно, что запрокидывались головы и глаза лезли на лоб. После лежали совершенно мокрые, но счастливые. Мурочка подросла и стала таким нежным и грациозным подростком, какого никак нельзя было ожидать у таких бесшабашных мамаш. С ее появлением они стали даже как-то потише, поприличнее, что ли.

Рано утром постучала соседка и крикнула: «Сима, иди, там, за коровником, твоя кошка лежит! Я крыс травила, и похоже, что отравилась она». Мы побежали. Мурочка лежала вытянувшись у мусорного бака и пыталась встать. Изо рта шла пена. Мы с ревом повалились перед ней на колени и не знали, что делать. Мама взяла ее на руки, и та замурлыкала. «Зачем ты сюда ходила?! Что тебе тут было надо?!» — в отчаянии спрашивала мама. Мурочка виновато смотрела на маму и мурлыкала, а лапами месила ей руку. Глаза у нее были светлые-светлые, с палочками вместо зрачков. Потом голова упала и шея стала длинной.

Мама сходила в сарай, взяла лопату, ведро и наше старое детское одеяло. Мы закутали Мурочку, положили в ведро и пошли на горку. Мы не видели дороги от слез. Кто-то здоровался с нами, мы не отвечали. Мы держались за маму, мама несла ведро и лопату, а из ведра торчал кончик Мурочкиного хвоста. На горке, где мы всегда собирали цветы, вырыли небольшую ямку и положили туда Мурочку. Мы захлебывались от рыданий, и мама нас не успокаивала. Только сказала: «Наверное, дети, Бог создал животных, чтобы люди научились любить».

Я и сейчас так думаю. А Маняша с Юсей долго искали Мурочку, звали ее, потом на какое-то время пропали, но вернулись. Пыльные, усталые и худые.

Градусник

Однажды на берегу к Нанке и Ирке, ее подружке, подошел симпатичный, молодой, небольшого роста крепкий мужчина с очень хорошим, добрым лицом, и предложил им заниматься плаваньем. Он был приезжий — его речь и его вещи, имевшие добротный дорогой вид, явственно об этом свидетельствовали. Начались тренировки. У Нанки появился кусок личного пенопласта, с ним она ходила на море. Я, как обычно, бегала за Нанкой хвостом. Вставали мы рано утром, хватали полотенца и через три минуты были на нашем пустом берегу. Владимир Николаевич всегда оказывался уже там.

Несмотря на свою доброту, гонял он юных спортсменок нещадно. Толкая впереди себя пенопласт, то погружаясь с головой в воду, то выныривая, чтобы глотнуть воздуха, девчонки вспахивали воду от Синего камня к Большому как заведенные. Казалось, конца этому не будет. Мне было жаль Нанку, но я старалась не подавать виду и плавала себе неподалеку. Иногда я пристраивалась к ним, но быстро уставала, выходила на берег и прыгала по камням, распугивая маленьких крабов, гревшихся в лучах первого солнца. Бродила по колено в воде среди осколков каменных глыб, поросших водорослями, наблюдала за шнырявшими между ними косяками мальков. До боли в глазах от слепящего утреннего солнца смотрела на дельфинов, выпрыгивающих из воды. Вернувшись на место тренировок, я видела, как девчонки плавают теперь уже по секундомеру или отрабатывают прыжки в воду с Большого камня.

Когда пришла осень и утра стали холодными, Владимир Николаевич стал носить с собой градусник и измерять температуру воды. Градусник был пластмассовый, красного цвета, с красным шариком и специальным изгибом, чтобы его можно было вешать, но поскольку вешать было некуда, он всегда просто лежал на пушистом махровом полотенце Владимира Николаевича. Однажды, когда все были в воде, я, как обычно, села на полотенце и услышала хруст. Градусник! Это был он! Я страшно испугалась, прикрыла его нашим тощим полотенцем и отошла в сторону. Вышли совершенно синие девочки, и Нанка сразу плюхнулась на место моего преступления. Она охнула, стала извиняться, но Владимир Николаевич рассмеялся и закрыл тему.

Когда мы шли домой, Нанка все сокрушалась, а я ее утешала. Предлагала не говорить маме, но она маме сказала, и та ругала

ее: «Почему ты такая неловкая? Надо смотреть, куда садишься! Узнай, сколько это стоит, я отдам деньги!» У меня было такое ощущение, будто я попала в капкан и не могу вырваться, и чем дольше длилось мое молчание, тем тяжелее мне было признаться. Появилось какое-то гаденькое ощущение самой себя. Оно мешало мне спать, оно мешало мне жить. Я понимала, что градусник — пустяк. Я испугалась. С кем не бывает? Но что дальше все так получится…

Спустя несколько лет я рассказала Нанке и маме про мой кошмар. Они что-то припоминали, удивлялись, что я такая глупая и не рассказала сразу. Я плакала, а они смеялись и жалели меня. Зачем я тогда так сделала?!

Море

В Крыму зимой бывает очень холодно. Дуют такие ветры, что срывает крыши с домов и уносит заборы. Идти невозможно. Одежду продувает насквозь, как будто ты вышел на улицу голым. Феодосийский залив замерзает. В замерзшем море есть что-то фантастическое. Волны застывают в причудливой форме и становятся белыми как соль.

Недалеко от того места, где мы летом купались, стояли со времен войны затонувшие корабли. Зимой, покрытые льдом, они напоминали волшебные замки и светились на солнце. Детей манило в этот неизведанный зимний город, и они тонули там, как брошенные на глубину щенки, потому что белые волны под ногой человека рассыпались как крупа.

Летом мы плавали к этим железным мрачным скелетам, наполовину возвышавшимся над водой, залезали на них, прыгали с мачт, рассматривали под водой поросшие мидиями борта, заглядывали в иллюминаторы. Однажды я там чуть не утонула. Бегая по раскаленному солнцем ржавому железу палубы, я вдруг увидела блестящую рыбку, плававшую в одном из отсеков затонувшей части корабля. Вода была прозрачной, и хорошо было видно дно. Рыбка чертила пространство этого большого для нее аквариума маленькими резкими рывками. Я прыгнула к ней как в колодец — она тут же исчезла, а я вдруг поняла, что мне не выбраться из этой западни. Друзья мои плавали где-то рядом, не замечая моего исчезновения. Отдаленно я слышала их веселые голоса. Вода была теплая, пространство небольшое, но до дна и до верха не достать, за гладкие рыжие стены не зацепиться.

Глупо было умирать из-за рыбки. Паники у меня не было, было непонимание и неприятие тех обстоятельств, в которые я попала. Через какое-то время, когда сил уже не оставалось, вверху, в просвете небесного квадрата, появились головы девчонок. Я лежала на спине и старалась отдохнуть от безуспешных попыток вылезти. У моих спасателей не было с собой даже полотенец, чтобы меня вытянуть. Пришлось им плыть на берег за большой тряпкой, на которой мы загорали. Как богатый улов, тащили они меня из этого колодца. Помню, когда я уже наверху, с поцарапанными животом и коленями, лежала с девчонками на мокрой тряпке и смотрела в небо, очень хотелось спать. И, прикрыв веки, я видела, как перед глазами на красном фоне все прыгает коварная золотая рыбка.

Курортники

Летом Феодосию заполоняли курортники. Цены на базаре подскакивали, по улице начинали ходить почти голые люди с надувными матрасами на голове, в столовых становилось шумно, слышался стук вилок, в галерею Айвазовского выстраивалась длинная очередь. Взрослые феодосийцы курортников не любили, но ими жили — на квартиры пускали. В Городке цены не ломили: рубль с человека в сутки — ведь ни газа, ни воды, ни туалета. Квартиранты, однако, были почти у всех. Мама никогда не брала отдыхающих, свобода была ей важнее.

Когда в Городке появлялся новый народ, жизнь ребятни становилась веселее. Особенно на пляже. На нашем пляже море было чистое, берег — с крупными гладкими булыжниками (булыганами). Приезжие с трудом передвигались по ним, смешно переставляя ноги и почти на карачках вползая в море. Женщины, войдя в воду по колено, начинали плескать себе под мышки, зазывно взвизгивая, по нескольку раз окуная зад и крепко держа в руках свой бюст. И только потом плыли, по-собачьи. Мужчины умывались, терли изо всех сил лицо ладонями, мужественно сморкались, крякали и наконец, бухаясь в воду, плыли мелкими частыми саженками, смешно поворачивая голову то в одну сторону, то в другую. Выходя, женщины, оттопырив нижнюю губу, тщательным образом отжимали груди, критически осматривая их; мужчины, болезненно морщась, — трусы, украдкой щелкая резинкой по животу, загоняя воздух в плавки.

Вообще же отдыхающие были люди скромные. Тихо лежали с утра до вечера на больших махровых полотенцах, надувных матрасах, установив над ними самодельный тент из простыней, натянутых на вбитые между камнями палки. Читали книги, крутили колесико транзистора, из которого шел хрип и свист, изредка перекусывали, мазались солнцезащитными кремами, тонкими шкурками снимали друг с друга обожженную кожу, а потом, щурясь, смотрели через нее на солнце. Входя в море, почти никогда не снимали головной убор, солнечные очки или кусок газеты, прилепленный к носу.

Мы, местные дети, обычно ходили на берег целой ватагой. Разбежавшись, прыгали головой в воду на самой мели, рискуя пропороть себе острыми камнями пузо. Ныряли с камней, Большого и Синего, торчавших из воды: сальто вперед, сальто назад, «головкой», с рук, с плеч, спиной. Завораживало, когда это делали взрослые ребята и девушки. Издававшие дикие крики, они были похожи на сильных опасных морских животных. Когда они в

воде начинали гоняться друг за другом, поднимая столбы пены, казалось, море выйдет из берегов. На суше они закуривали, играли в карты и опять носились друг за другом, чтобы, поймав, бросить в море. Их бронзовые точеные тела и вся эта кутерьма так возбуждающе действовали на отдыхающих, что те невольно сами начинали возиться, больно заламывая «противнику» руки.

Вреда от приезжих не было. Только польза. Когда нам, детям, хотелось поплавать на матрасе, мы шли просить его у приезжих. Обычно клянчила я — подруги говорили, что у меня честное лицо и курортники мне верят. Я выбирала жертву — чаще всего это был мужчина, — подходила, приветливо улыбаясь, и говорила: «Простите, пожалуйста, а вы не могли бы дать мне матрас поплавать?» — «Какой разговор, деточка?!» — следовал ответ, и тут налетал шалман обезумевших детей. На глазах несчастного владельца мы, вырывая друг у друга матрас, бежали к морю и плыли к буйкам. Там, на глубине, по соседству с дельфинами, мы давали мастер-класс всему пляжу, смотревшему на нас стоя, с изумлением и восторгом. Очень силен был в нас дух бравады и авантюризма.

Матрас возвращали тогда, когда владелец уже терял всякую надежду получить хотя бы лоскуты от своего любимца. С синими губами и стучащими зубами мы ложились своими пупырчатыми телами на раскаленные камни и затихали. Минут на десять.

Огонь

В Городке газ не был проведен, и все пользовались керогазами. За керосином мы с Нанкой бегали в керосиновую лавку и вдвоем тащили домой железную баклажку на палке, продетой сквозь ручку, чтобы было не так тяжело. Керогаз находился на веранде, рядом всегда лежали спички и стояла банка для уже использованных. Мы с Нанкой рано научились менять и поджигать фитиль, регулировать пламя и доливать керосин. Если мы что-то готовили без мамы, приходилось становиться на табурет, поскольку керогаз стоял на столе. Мы сами могли вскипятить чайник, сварить яйца, сардельки или картошку. Когда Нанке было уже лет десять, мы пытались жарить блины.

Керогаз часто коптил. А однажды случился пожар. Мы были в комнате, когда услышали истошный крик бдительной соседки. Мама выбежала на веранду — пламя стояло до потолка. Раздумывать было некогда. Она схватила длинный резиновый коврик, лежавший у порога, накинула на керогаз и все вместе выбросила в палисадник, чуть не попав в бедную тетю Соню, готовую к тушению крупного пожара. Та успела отпрыгнуть от гудящего пламени, но на маму обиделась, как будто мама сделала это умышленно. Потом мы известкой белили стены и потолок.

Когда бывали перебои со светом, мы пользовались керосиновой лампой. Переходя с ней из одной комнаты в другую, смотрели на тени, перемещавшиеся за нами по стенам, и казалось, что в доме живет еще кто-то, большой и молчаливый. Однажды зимой я случайно смахнула стекло с лампы на пол. Оно упало, но не разбилось. Лежало на коврике в темноте красной грушей. Я испугалась и захотела быстрей поставить его на место. Схватив рукой раскаленную лампу и вскрикнув от боли, я тут же ее бросила, потом опять схватила и опять бросила. Подбежала Нанка и оторвала меня от этого странного занятия. Ладонь моя стала вздуваться на глазах. Сбегав на веранду за ведром, в котором тяжело кружилась голова льда, она сунула в него мою руку, а мне казалось, что я держу ее в кипятке. Через какое-то время, после всяких мазей, волдыри лопнули, и с ладони сошла толстым слоем кожа. Все меня жалели и были ко мне внимательны.

Салют — это радость. Салют на море — двойная радость. Ты можешь видеть огни в небе и их отражение в воде. В День Военно-

морского флота украшенные разноцветными флагами корабли на рейде выстраивались по одним им известным правилам и с наступлением темноты начинали палить из пушек. Дети и взрослые Городка собирались на самом высоком косогоре и на каждый «бух» кричали «ура!». Из пушек валил дым, а в небо выплевывались фонтаны разноцветных, стремительно бегущих огней. Небо трещало, как рвущаяся материя, сквозь дыры которой врывался яркий пронзительный свет. Огни сплетались между собой, спутывались, дотрагивались друг до друга мягким поцелуем, отвоевывали у ночи часть неба и с шипением и треском вдруг пропадали, освободив место новым безумцам. Оставляя за собой пенный след, умирали в море. Разинув влажную пасть, море глотало этих бесстрашных светляков и засыпало коротким черным сном старика до следующего «буха».

Накричавшись до хрипоты, мы шли домой, совершенно обессиленные впечатлением мощной огненной феерии и смутным осознанием собственной неспособности так высоко и ярко выстрелить и так красиво и бесстрашно погибнуть.

Вода

С водой в Феодосии было плохо. В нашем Городке было всего две колонки на восемьдесят семей. Вода редко поступала хорошим напором, чаще текла вялой застенчивой струйкой, грозившей каждую минуту прекратиться. А вода нужна была всем. В каждом доме стояли ведра с крышками, баки, фляги, бидоны, кастрюли, выварки, чаны, корыта, тазы — все было наполнено ею. Если несколько дней раззявленные пасти колонок были сухими, приезжала машина с водой. Она появлялась из-за угла Генуэзской стены и начинала победно сигналить. Раздавался чей-то истошный вопль «Вода!», и Городок вымирал ровно на секунду.

Через мгновение все живое бежало за машиной и звенело, громыхало, тарахтело, грохотало всевозможными емкостями. Необходимо было попасть в очередь первыми, ведь воды могло и не хватить, а вторая машина не всегда приходила. Люди буквально теряли человеческий облик: отбивали друг другу руки лоханями, крутили со свистом ведра над головой, и только шофер не терял самообладания. Зажав в кулаке гаечный ключ и подняв его высоко над головой, с трудом держась на подножке своей машины, он пытливо вопрошал толпу: «Вы, блядь, люди или не люди?! — И продолжал: — Будьте, сука, людьми! Соблюдайте приличия! Или я сейчас развернусь, на хуй, и уеду!» Народ из последних сил брал себя в руки и дисциплинировался. Воды хватало всем.

Когда машина уезжала, Городок погружался в немую полуденную дремоту, а на асфальте оставались лужи, из которых мирно пили собаки и кошки.

Баня

Маленькими мама мыла нас в корыте, а когда немного подросли, стали ходить вместе в гарнизонную баню. Навстречу нам почти всегда попадались шедшие строем румяные матросы, блестя на солнце носами, как начищенными пуговицами.

Открывая дверь с улицы, мы попадали прямо в раздевалку, где запросто сновали совершенно раздетые женщины. На входящих кричали, чтобы веселее закрывали дверь, а не расхребенивали ее как у себя дома. Отряхнув снег с пальто, вновь прибывшие перемешивались с голыми и быстро, как кожуру с картофеля, снимали с себя одежду. Уже нагишом они сидели какое-то время, почесываясь и озираясь, как птицы.

Попав первый раз в раздевалку общей бани, мы с Нанкой разинули рты и встали на пороге как вкопанные. Полуодетые и совсем голые женщины копошились у шкафчиков с серьезными лицами. Болтались перед глазами тугие сочные груди, пуки волос под животами и под мышками изумляли своей кустистостью — и все это мелькало, заставляло вглядываться и повергало в ужас.

Было много старух. Одни с трудом пытались вставить ногу в панталоны, что было похоже на спортивную игру «попади мячом в кольцо». Сделать это сразу не удавалось, но они явно не расстраивались, и попытки продолжались. Другие, вынув полукруглые коричневые гребешки из голов, медленно-любовно расчесывали прозрачные волосы на маленьких сухих черепах. И смотрели бесцветными глазами в одну точку, плетя тончайшие косицы, доплетая их до последнего волоска.

Сухонькие старушки были похожи на уродливых девочек. Грудь отсутствовала, но где-то ближе к паху неожиданно радостно подмигивали соски. Нижняя часть туловища напоминала букву «П», а коленные чашечки были приблизительно одного размера с головой. У толстых старух с распаренными красно-синими лицами были свои законы поведения в бане. Они занимали в раздевалке много места, раскладывая вокруг себя свои бесчисленные вещи, и, не найдя нужной, устраивали скандал. С силой произнесенное ими слово тут же откликалось вздрогом их большого тела, и складки начинали ходить ходуном, как волны на море. Я знала, что нельзя пялиться на «ущербных» людей, но ничего не могла с собой поделать. Смотрела на них украдкой и думала: как хорошо, что я родилась девочкой, а не старухой.

В помывочной было шумно, плотно стоял пар, и, как чайка, летало эхо под потолком. Из больших ржавых кранов толстыми

струями с шумом лилась вода, и гремели тазы, катаясь по каменным длинным скамьям. Женщины мылились, поливали себя водой, терли друг друга, и постепенно разница между ними — красивыми и некрасивыми, старыми и молодыми, толстыми и худыми, добрыми и злыми, веселыми и не очень — смывалась, растворялась и грязной пеной уходила в пол, утекала сквозь железную решетку куда-то в землю.

Гомнюки

Туалет — отдельная песня! Один на весь Городок! На восемьдесят семей!

Бетонное сооружение на четыре дырки в полу. Правда, есть педали, на них можно встать как на единственный остров среди океана фекалий, которые застывали причудливыми нагромождениями и были расцвечены разными цветами радуги. Баба Ира всегда приходила со своим ведром — это был ее личный унитаз. «Колени не держат», — оправдывалась она и, восседая на ведре, кротко всматривалась в лица сидящих напротив в позе орла. Использование ведра, правда, было чревато. Возникал эффект вакуума, и тогда приходилось общими усилиями отдирать старуху от насиженного места. Многие тоже пользовались ведрами, но дома, а потом выходили как на прогулку с этими «ночными вазами», оттянув подальше подол и как можно приветливей здороваясь с соседом.

За стеной женского туалета находился такой же мужской. Женщины и мужчины друг друга прекрасно слышали и становились ближе в буквальном смысле слова. Секреты, сообщенные на ухо, подхватывало коварное туалетное эхо и уносило за перегородку. Через несколько минут уже весь Городок знал, у кого и где чешется и как выглядит геморрой. Все знали всё до капли. Тайн не было. А хотелось иметь, особенно женщинам, — пусть небольшую, но все же…

Туалет убирала тетя Ася, женщина лет пятидесяти. Боевая, сухонькая, с круглым, как сковородка, лицом, с желтыми стриженными волосами и голосом, похожим на звуки расстроенной гитары. Она всегда громко недоумевала, когда приходила мыть туалет. Как такое может быть, что в человеке так много «гомна»? Почему люди так много «се́рут»? Кто будет убирать «гомно», если не она? И что будет, если это «гомно» вообще не убирать? Эти вопросы мучили ее, и разгадать эту загадку она пыталась на протяжении многих лет. В течение дня она заглядывала в туалет по нескольку раз и всегда выходила оттуда погруженная в свои мысли. «Серут и серут!» — почти с восхищением говорила она, возведя глаза к небу.

При встрече с ней возникало ощущение, что тебя видят насквозь и как рентгеном просвечивают твои внутренности. Какую бы высокую планку ты сам себе ни задавал, она со стуком падала. Под взглядом тети Аси ты чувствовал себя наполовину куском дерьма. Если она с кем-то ругалась, то обязательно называла человека «гомнюком» или «гомнючкой», и это было

страшно, потому что тетя Ася хорошо знала предмет разговора. Ей можно было верить.

Авторитетов она не признавала. Если при ней соседка говорила о ком-нибудь уважительно, тетя Ася через паузу обязательно резюмировала: «Так я тебе и поверила! Такой же гомнюк, как и твой муж!», то есть одним выстрелом укладывала сразу троих, не разменяваясь на мелочи. Правительство она тоже не жаловала: «Гомнюки все! Все до единого! Покажи мне там хоть одного не гомнюка! Приведи мне сюда Брежнева, я ему и в глаза скажу — гомнюк! И лысый был гомнюком! Думали, Сталин не гомнюк! На-ка выкуси! Гомна на лопате! Так вам и надо, гомнюкам! Что насрали, то и пожрали!» Народ к ней прислушивался. Ее уважали.

В пятнадцать лет Надя закончила восемь классов общеобразовательной школы и одновременно — с отличием — музыкальную школу. Что Нанкина жизнь будет связана только с музыкой, было ясно давно. Ближайшее училище — в Симферополе, на него мы и рассчитывали. Но в тот год мы узнали, что набирать и в Симферополе, и в Киеве, и в Харькове будут только украинцев. Выяснилось это буквально перед Нанкиным окончанием школы, и выпускники — неукраинцы — заметались.

На семейном совете было решено, что училищем Надя не ограничится, нужна в дальнейшем и консерватория. Кроме того, мама понимала, что тут еще и младшая дочь с актерскими способностями подрастает. Что делать? Искать квартирный обмен с таким городом, где есть и училище, и консерватория, и театральный институт. На Москву и Ленинград мы не замахивались. Кто поедет из средней полосы России хотя и к морю, но в дом, где нет никаких удобств? Только те, кому необходим здешний климат. Урал и Сибирь казались более реальными.

Решать вопрос с переездом надо было быстро. Мама дала объявление в бюро по обмену квартир, и мы стали ждать. Приезжали претенденты, купались в море и уезжали. Серьезными и мобильными людьми оказались только новосибирцы. Колесо завертелось. Нанка за лето поступила в новосибирское училище, мы быстро собрали документы. Обмен состоялся Мы переехали.

Смотрите и запоминайте

В конце августа, перед самым отъездом в Новосибирск мама вдруг предложила нам вместе пройтись вокруг Городка. Странное предложение. Мы никогда не гуляли с мамой по окрестностям. Она сменила скучное домашнее платье на веселое, любимое нами, и мы вышли за калитку.

Проходя мимо магазина, поздоровались с бабой Ирой и ее любопытными подружками. Прошли, приветливо улыбаясь, мимо заядлых любительниц карт и лото, обдавших нас приятным сладковатым папиросным запахом, и вышли к морю. Лоскут голубого полотна, сразу появившийся перед глазами, лежал спокойно, как приклеенный. Берег был пуст, только две местные бабки в жидких висящих панталонах, зачерпывая пригоршнями воду, поливали свои синие ноги. Мама оглядела пляж, будто искала кого-то. Потом показала на большой камень: здесь наш отец и дядя Валя, мамин брат, пекли на костре мидии.

Мы с Нанкой бросали в море камни, а мама, уперев руки в боки, с нежностью на нас смотрела. Поднявшись на гору, мы сели на высохшую траву и затихли. Обратно возвращались по большой пыльной дороге мимо того места, где похоронили нашу кошку Мурочку, мимо футбольного поля, покосившихся сараев. Погрузились в прохладу балки, где всегда терпко пахло бурьяном, покружили возле старинных церквей. Прошли дом бабы Фроси и были облаяны ее собаками. Сделав круг, снова вышли на высокий берег у рыбсовхоза. Стремительные стрижи пронзительно пищали, укладываясь на ночь в бойницы башни. Мы сели на маленькую кривую скамеечку. «Смотрите и запоминайте, — сказала мама, — возможно, вы не скоро сможете здесь побывать». Огненный апельсин на наших глазах неумолимо втягивало в море, и мы завороженно следили за его гибелью. Внизу, на мостике, сидела большая собака и тоже смотрела на заходящее солнце.

Октябрь 1972 года

Мне двенадцать лет. Наде — шестнадцать. Маме — пятьдесят. Нанка уже месяц учится в Новосибирском музыкальном училище.

Весь полет я пялилась в иллюминатор так, что шея затекла. Мама все время молчала и не разделяла моей щенячьей радости. Новосибирск-Толмачево приветствовал нас хмуро, дождем. Нанка же нас почему-то не встретила, и мы забеспокоились. Багажа было много, пришлось взять такси. Мы приехали в пустынное место, где стояли одинаковые пятиэтажные серые дома, и мама побледнела, увидев сумму на счетчике.

Дверь нам никто не открыл, мы топтались с множеством баулов на лестничной площадке и не знали, что делать. Идти было некуда. Соседка снизу, старушка Марья Сергеевна, пригласила нас к себе. Я ела вареную картошку с квашеной капустой, мама не ела и была немногословна. Потом прибежала Надя (в аэропорту мы почему-то разминулись), и мы поднялись в нашу новую квартиру. Мама села на единственную табуретку и внимательно посмотрела на нас. Мы молчали. Она сказала: «Дети, раньше в Сибирь ссылали, а я привезла вас сюда добровольно. Похоже, я совершила ошибку». В наступившей тишине раздался неожиданно взрослый Надин голос: «Мы приехали сюда учиться. Это хороший город, и здесь живут хорошие люди. Ты все правильно сделала». И мама заплакала.

Уборщица

В Феодосии маму знал весь город, хотя работала она всего лишь в детском саду музыкальным работником. Но ее детсадовские утренники можно было назвать событиями городской жизни. Пляски, песни, сказки, спетые и сыгранные совсем малявками, доводили родителей до слез умиления и восторга. Они никак не могли понять, что делает с ними моя мама, почему их дети, неуправляемые дома, с такой радостью поют хором, танцуют и машут платочками, читают стихи?

Несколько поколений выросло под мамин аккомпанемент. С мамой нельзя было спокойно гулять по городу. С ней бесконечно здоровались, ее останавливали и благодарили, ей принимались рассказывать, как растут дети, вспоминали, советовались, интересовались.

В Новосибирске работы для мамы не было. Однажды, придя из школы, я сразу почувствовала, что что-то произошло. Надя с мамой, одинаково сложив руки под грудью, смотрели в окно. «Шура, нам надо с тобой поговорить, — строго сказала Нанка. — У нас сейчас сложное положение. На мамину пенсию, мою стипендию и „папино“ пособие мы долго не протянем, а мама не может найти работу по специальности. Поэтому, — она наклонила голову и испытующе посмотрела на меня, — поэтому она будет работать в твоей школе техничкой». «А что это такое?» — тихо спросила я. «Ну, это… это… уборщица, Шура! Что ты, как маленькая, не понимаешь?» — И Нанка сделала страшные глаза. Мама смотрела в окно и ничего не говорила. Я подошла и заглянула ей в лицо. Она улыбалась. Лицо было мокрое, но она улыбалась. «Что делать, Шурок, жизнь такая штука… треклятая жизнь…» «Я не хочу! Нет! Не ходи! Не надо! Мамочка, миленькая, не ходи! Я умоляю! Не ходи! Нет!» — Я плакала до икоты, я не могла поверить, что мама теперь будет уборщицей. «Сашулька, знаешь, ты ко мне в школе не подходи. Никто не узнает, что я твоя мама. Я понимаю, это неприятно…»

Еще один раз я плакала так же отчаянно — в Феодосии перед отъездом…

Съемки

В Феодосию часто приезжали киношники и почти каждое лето снимали кино. Феодосийцам было лестно, что для столь почетного занятия выбран именно их город. В основном съемки шли в пределах старого города около нашего Городка. Для детей это был праздник. Однажды во время съемок фильма «Севастополь» мы с Нанкой стояли на горке и вдруг увидели, что конница красноармейцев плотной стеной несется прямо на нас. Мы не поверили своим глазам и еще какое-то время постояли в надежде, что направление их движения изменится, но они с обнаженными шашками и перекошенными ртами мчались точно на нас. Нанка сильно толкнула меня, и я улетела в старый противотанковый ров. Она прыгнула за мной. Над нами мелькали животы лошадей и комья глины. С остановившимися глазами мы валялись во рву и долго не могли понять, что произошло.

Никогда не забуду эпизод при съемках фильма «Салют, Мария!». Действие разворачивалось на берегу моря, и жители расположились на горе, чтобы лучше видеть происходящее внизу. А там — лодки, стрельба, дымовуха. С колотящимся от восторга сердцем я прибежала и села на траву. Смотрю. Сзади сидели человек пять-шесть подростков. Кто-то крикнул: «Эй, ты!» Я обернулась, и один из них плюнул мне в лицо. Я слышала, что кто-то возмутился, а тот ответил, что я сама виновата — не туда села… Но я уже бежала домой. Дома никого не было, и я рыдала до судорог, до рвоты…

Мама стала работать в моей школе. Я подбегала к ней на каждой перемене, обнимала ее, и мы всю перемену так стояли. Первое время она меня отталкивала, говорила, что обниматься на людях «неприлично», но, наверное, в душе радовалась…

Контейнер с нашим скарбом пришел только через два месяца. До этого мы спали на полу, на матрасе, который нам дала Марья Сергеевна, и укрывались пальто. Но жизнь уже входила в свою колею. У нас появились подруги. Мы с Нанкой стали осваивать город, обулись в валенки и научились есть сало. Соленое сало с чесноком и куском ржаного хлеба! Впрочем, один раз я ела сало и в Феодосии.

Сало

Мама во дворе разговаривала с какой-то тетей, а я стояла, держась за ее подол. Подошел незнакомый дядька, они с мамой о чем-то поговорили, он взял меня на руки и понес, а мама осталась. Там, куда мы пришли, было много дыма и почти не было света, а вокруг деревянного стола сидело много мужчин. Было тихо. Потом они встали, гремя табуретками, потом выпили из стаканов, потом стали плакать, а мне дали кусочек мыла и сказали: «Твой батька любил сало! Ешь сало!» Я не знала «батьку», но понимала, что он «мой» и они его очень любят. Я зажала жирный лоскут в кулаке и стала пытаться его есть, но он не откусывался, выскальзывал, и все смеялись, обнажая железные зубы. Кто-то надрывно запел, кто-то зарыдал, но мне не было страшно с ними. Пахло чем-то родным, и мы ели сало! Пришла мама, взяла меня на руки, и мы быстро ушли, а по дороге я совала ей в рот скользкую тряпочку: «Ешь сало! Мой батька любил сало!»

Первая зима

В Новосибирске на центральной площади ставили под Новый год огромную елку. Никогда раньше я таких красивых не видела. Гирлянды из разноцветных лампочек то вспыхивали внезапно как салюты, то пробегали толчками снизу вверх, то хаотично мерцали, меняя цвет, и молниями стреляли с самой верхушки в землю. Рядом с елкой стояли гигантские Дед Мороз и Снегурочка, вырезанные из льда местными скульпторами. Здесь же, на площади, каждый год вырастал ледяной город, подсвечиваемый огнями изнутри. В этих городских стенах-лабиринтах можно было бродить, загадывать желания, целоваться. Около елки ежегодно выстраивали огромную деревянную горку, с которой одновременно могли скатываться сто — если не больше — человек. Съезжали с горки толпой, стоя на ногах, а внизу дежурили солдаты и принимали скатившихся в свои объятия, чтобы не возникала куча мала. Детские же горки, сделанные в виде сказочных животных, были совершенно безопасны.

Тут же кипели котлы, в которых варились пельмени. В шипящем масле жарились беляши и шаньги. Продавался сбитень. Играла музыка, ходили ростовые куклы, и мужики, сбросив с себя верхнюю одежду, лазали, как водилось в старину, на ледяной столб за подвешенными на верхотуре хромовыми сапогами или гармошкой.

Сибиряки при тридцатиградусном морозе не мерзли. На ногах — валенки, на руках — овчинные рукавицы, у кого — тулуп, а у кого и шуба. Всем было тепло и весело. Нам тоже было весело в наших демисезонных пальто.

Способные дети

В Сибири нам с Нанкой предстояло научиться ходить на лыжах и кататься на коньках. В то время во всех учебных заведениях выдавался спортивный инвентарь, и на уроках физкультуры, с трудом привязав, примотав брезентовыми ремнями лыжи к ногам, молодежь пускалась по трассе в несколько километров в надежде заработать значок ГТО («Готов к труду и обороне»). Мы с Нанкой трудились и оборонялись как могли. Так как мы были девушки стремительные, доски, привязанные к ногам, хоть и отягощали нашу летящую походку, все же не тормозили движения. Скорость достигалась не скольжением, а усилием воли. Бежать по проложенной лыжне нам казалось нелепым и скучным занятием. Мы выбивались из общего строя, суетились, въезжали в сугробы, бесконечно падали, вставали, выкручивая ноги, но приходили к финишу не последними.

Особенно тяжело приходилось Нанке, когда надо было осваивать коньки. Без зачетов по физкультуре студенты не допускались к основным занятиям по специальности. На открытом стадионе «Динамо», дрожа от холода, ужаса и жалости, я смотрела, как моя сестра пыталась бегать по скользкому льду. На ногах у нее были не фигурные коньки, а беговые «ножи». Нанка ползала, кувыркалась, делала опасные для жизни своей и окружающих кульбиты, но продвигалась вперед. Альбертина, учительница физкультуры, крепкая блондинка с железной нервной системой садиста, требовала от будущих музыкантов совершенного владения техникой гладкого скольжения по льду. Поздними вечерами мы с Нанкой, одолжив у соседей коньки, преодолевая усталость, выходили тренироваться в хоккейную коробку перед домом. В обнимку мы доползали до середины льда. Врезаясь со стоном в деревянные борта и друг в друга, высоко подбрасывая ноги в тяжелых коньках, с треском укладывались на лед.

Наслаждение от зимних видов спорта пришло позже. С маниакальным постоянством мы с Нанкой стали ездить в Бугринскую березовую рощу кататься на лыжах, уже собственных. Провожая нас на очередную прогулку, мама с удовлетворением замечала: «Даже зайца можно научить играть на барабане, а вы у меня дети способные». Мы кивали, скромно потупившись, и, намазав лица гусиным жиром, вываливались на мороз. На встречу с сибирским лесом — и своим характером.

Прохожу мимо Останкинской танцевальной веранды. Сейчас она пуста, но мы с Катькой, гуляя летом по парку, не однажды становились свидетелями здешних знойных танцевальных вечеров.

Оторваться от этого увлекательного зрелища невозможно. Оказывается, независимо от возраста, людям свойственно желание нравиться, быть в центре внимания. Конечно, здесь много комичного, жалкого: координация часто нарушена, на лице блуждает тонкая кривая улыбка, а слезящиеся глаза горят отчаянным блеском. Те, кому далеко за шестьдесят, семьдесят и даже больше, пытаются выкаблучивать такие кренделя, что только диву даешься, как они все-таки не падают и не сбивают друг друга с ног. Танцуют все и всё. Публика разодета в пух и прах. В воздухе витает запах нафталина, но он яростно перебивается духами, запахом пота и еле уловимым запахом старости. Мужчины в парадных костюмах, женщины в ярких платьях и при макияже. Все внимательно присматриваются друг к другу. Вот кого-то посадили на скамейку и дали валидол, а вот кто-то кому-то понравился, и с отчаянной страстью вспыхнул роман. Что заставляет этих людей приходить сюда танцевать? Музыка, которая им напоминает юность и молодость, страх приближающейся смерти или жажда любви?

Морсад

Летом в феодосийском Морсаду — танцы. Вечером народ в Городке становился нервным, дерганым. Из соседнего окна дядя Леня слезно просил-надрывался: «Ну, давай, давай, плюй на отца! На мать плюй!» Витька Чеботарев врубал у себя на полную громкость битлов так, что в магазине напротив дребезжали стекла. Мы, шкеты, садились на теплые магазинные ступеньки и наблюдали, как через площадь побежала Нинка в бигудях, а за ней — мать с криком «Не пущу!», как потом Валерка понес в одной руке брюки, в другой — пудовый утюг, отглаживать стрелки к другу-умельцу. Калитки то и дело хлопали, из окон слышался то плач, то хохот. А тут и баба Ира выходила на улицу, садилась на скамеечку, развязывала мешок с семечками и в ожидании покупателей вкапывала туда маленький и большой стаканчики. К ней подсаживались другие бабы со своими стульями, от сплетен летели шелуха и слюни.

Наконец появлялась разодетая молодежь. Девчонки были шикарные! Платья из тафты и гипюра на чехлах, с поясками и без, пышные и в талию, с глубоким вырезом и под горло, туфли с острым носком на мерзавчике, на голове «бабетта», «шишка» или стрижка с начесом, в ушах — болтающиеся шарики или клипсы-цветок. Все благоухали традиционными духами — «Красной Москвой», «Пиковой дамой» и модными «Может быть». Ребята тоже не отставали: рубашки, цветастые с огурцами или нейлоновые, через которые просвечивали белые майки; брюки клеш или дудочкой, узкие ботинки. Вся эта шатия-братия покупала семечки у счастливой бабы Иры и парами-тройками уносилась в Морсад. В наше будущее.

Матросиков-кавалеров в Морсаду было видимо-невидимо. На танцплощадку за высокой железной оградой пройти можно было только по билету, но некоторые смельчаки перелезали через оградные пики, рискуя оставить на них штаны. На сцене-ракушке играл ансамбль, и, пока не опускалась ночь, солисты пели лирические песни, интимно припадая к микрофону после каждого музыкального проигрыша. Моряки были им благодарны. Медленные танцы (медляки) — моряку отрада. Сдвинув бескозырку на затылок, широко улыбаясь, он приглашал на танец какую-нибудь застенчивую хрупкую девушку. Уже минуты через две несчастная начинала ощущать бляху на ремне кавалера довольно явственно. Прижавшись к партнерше так, что издалека они смотрелись как один человек, он начинал ломать ей хребет: раскачивал девицу во все стороны с такой амплитудой, что после

танца она скорее походила на моряка, высадившегося на берег после девятибалльного шторма.

Вторая половина вечера была разухабистей первой. Музыканты начинали истерично визжать, трясти волосами и кидаться пиджаками. Публика постепенно раскрепощалась. Начесы, «шишки», «бабетты» разрушались и сбивались набок, «Ленинградская» тушь от пота давала течь, не выдерживая резких телодвижений, с треском лопались брюки. Местные юноши не любили моряков за их горячность, и потому заканчивались танцы обычно дракой. Моряки сбивались в кучу, снимали ремни и свистели ими над головами бесстрашных феодосийцев, которые с ловкостью кошек прыгали им на грудь и спину. Все это повторялось весь сезон танцев.

В Морсаду гремел духовой оркестр, работал тир, в летнем кинотеатре крутили взрослое кино, а на открытой сцене кувыркались неутомимые лилипуты из приезжего цирка «Максим». Иллюзионист в черном фраке показывал фокусы с картами и голубями, читались юморески, и народ дружно реагировал взрывами смеха. На центральных аллеях продавали мороженое, а в отдаленных уголках сада ритмично шатались кусты. Морсад — мечта каждого маломальски уважающего себя подростка. Там впервые в жизни можно было пригласить девушку на танец и в этот же вечер стать мужчиной. Мы же, дети, прибегали сюда на минуту-две, на полчаса, припадали к ограде, рискуя быть убитыми своими родителями за непослушание и любопытство, и впитывали этот дух смертельной опасности, разврата, куража и животной страсти, который так свойственен приморским городам.

Сажусь в маршрутку, пешком идти нет сил, да и подмерзла. Со мной входит молодая женщина с ребенком на руках. Она садится у окна и начинает что-то показывать малышу на улице, не видя, что капюшон от комбинезона закрывает ему глаза. Я говорю ей об этом, и она смеется.

В маршрутке меня ужасно раздражают телефонные разговоры. С трудом сдерживаю себя. Едрена вошь! Говорите тише! Я не хочу знать, в котором часу у вас ночной монтаж в Останкино и что вы должны успеть сделать до него, какую «денежку» вы получили вчера и какую «цацу» ожидаете получить сегодня. С кем встретиться, кому что сказать, куда забежать, что ели, что пили, с кем спали. Это ваше личное дело, господа! Наверное, я стала несносна, характер портится, а скоро придет климакс, и я буду бросаться на людей как собака.

Тут же мысль о маме: мои раздражительность и

несдержанность она называла распущенностью и делала мне замечание. Она всегда говорила нам, что думала: «То, что скажу я, вам никто не скажет».

Как-то во время одного домашнего спектакля мы за кулисами начали хохотать так, что вся декорация посыпалась и представление приостановилось. Мама встала и сказала, что театр имеет смысл только тогда, когда актеры верят в то, что делают, иначе зрителю неинтересно наблюдать за происходящим. Сказала и вышла. Сколько мы ни уговаривали ее, она не вернулась. Зато когда мама нас хвалила, это была действительно победа.

Как, когда и кем были заложены в ней вкус и чувство правды, откуда они взялись?

История маминой семьи

Дед маминого отца — военный врач, хирург. С ним связана одна наша семейная байка. Ходил он в Персию с походами и привез оттуда персиянку, разумеется красавицу: лицом белую, волосом черную, с узкой, как ветка, талией и широкими бедрами. Привез ее в свою казачью станицу, а она молчит. Молчит и курит. Ни хрена не делает. Дед, тактичный мужик, год ждал. Год она молчала. Станичники ему советуют: мол, отруби ей башку, то-то она запоет! А то, хрен ли она молчит, табак наш курит и ничего не делает, оскорбительно это как-то для нашего народа. И перед товарищами тебе должно быть неудобно! Ну, ясное дело, занес мой пра-пра над гордой красавицей топор. Тут взмолилась она человеческим голосом, и пощадил ее гордый хирург! Любовь была промеж них сильная, детки пошли. Лица белые, как снег, а волосы что вороново крыло. Голоса низкие, звонкие, характеры строптивые, вольные, вспыльчивые. Вот такая байка про Стеньку Разина и его персияночку, только со счастливым концом.

Мамин отец, Пантелеймон, еще до революции закончил коммерческое училище в Москве и был всю жизнь главным бухгалтером на небольших предприятиях в разных городах: Орел, Нальчик, Нефтегорск, Воронеж, Тиберда и наконец Феодосия. У него было три брата. В Гражданскую двое воевали в Белой армии, а он с младшим — в Красной. Тихий Дон! При окончательном раскладе политических сил один брат застрелился, двое уехали в Америку.

Мамину маму, мою бабушку, звали Татьяна. По ее линии в роду были священники, кто-то был пресвитер. Увидела Татьяна где-то Пантелеймона и полюбила его безумно. Поженились они, и на станции Трисвятское под Воронежем родились у них дети: мама, а через два года мамин любимый брат Валя. И все бы хорошо, если бы Паня не гулял отчаянно и не любил выпить. И то и другое делал он регулярно. Каялся, просил прощения, но ничего сделать с собой не мог: бабы одолевали его, как оводы лошадь на водопое. Не стесняясь ни жены, ни детей, они сами приходили или приезжали к нему, и тогда он на какое-то время исчезал.

Татьяна брала детей и бежала куда глаза глядят. Мама помнила, как она еще в раннем детстве лежала на соломе в телеге с совсем маленьким Валентином, а мать сама, стоя, правила лошадью и все оглядывалась, боялась, что Паня догонит. Пантелеймон и догонял, семья снова воссоединялась.

Мамина семья переезжала из города в город не всегда по

собственному желанию. Времена были лихие, то здесь, то там постреливали у стеночек, руку набивали, а у Пани братики в Белой армии были, да потом еще и к американцам подались, и знал об этом не он один. Чутье у Пантелеймона звериное было (не случайно Татьяну с детьми отыскивал в два счета). Так вот, когда кого-то из знакомых сажали в «воронок», Пантелеймон уже понимал, что нужно делать ноги, — завтра придут за ним. Хватал семью, и в ночь-полночь уезжали в никуда. Позже доходили слухи, что вовремя уехали, не раз дело решали буквально минуты. Но покой наступал ненадолго. Только начнут жить на новом месте, опять — хватай родных и беги. Живи и оглядывайся.

Все-таки перед Великой Отечественной Пантелеймон угодил в тюрьму. В Феодосии по пьяному делу у него разрезали портфель и вытащили все служебные документы. Дали срок, а тут война, и пошел он воевать в штрафных батальонах. Смывать, так сказать, вину перед родиной кровью. Воевал хорошо, это делать ему было не впервой.

Умер в Вятке, в госпитале, от ран. Похоже, что дослужился до офицера, поскольку похоронен не в братской могиле, как рядовые, а рядом, в отдельной. Лежа в госпитале, он прислал домой письмо, написанное под его диктовку санитаркой: так и так, сражался, отличился подвигами и наградами, ранен, умираю, простите за все, на коленях прошу прощения у Татьяны, жены своей любимой. А прощать было что: перед войной он жил не с семьей, а с женщиной, которая родила от него сына Адольфа. И на письмо наша мама ответила отцу так: «Милый папа, просить прощения больше не у кого, жена твоя, наша мать, погибла». Вскоре пришло еще одно письмо, писанное той же санитаркой: мол, ваш милый папа, узнав о гибели жены, сразу вздохнул и помер.

Так-то. Да…

Непростой характер был у нашей мамы. Впрочем, у бабушки Татьяны тоже не простой. Когда Вале было лет двенадцать, он поранил ногу и началось заражение крови. Врачи решили ампутировать ногу, а бабушка, любя Валентина больше жизни, сказала: «Не дам резать. Пусть умрет. Калекой он не будет». Дядя Валя выжил. В 1930-е годы, когда сослали на Соловки всю Татьянину поповскую родню, она упрямо посылала им письма и посылки, вязала носки и сушила яблоки, рискуя попасть под репрессии, как они.

Бабушка от природы была женщина умная, ловила все на лету, хотя образование — церковно-приходская школа. У нее под подушкой лежал учебник математики: на сон грядущий школьные задачки решала. А однажды она, когда уехала с детьми в какое-то

село, где ее поставили агрономом, освоила эту науку так, что тамошнее сельское хозяйство окрепло. Мама нам с Нанкой рассказывала: проснувшись ночью, часто видела мать спящей за столом. А на нем гора всяких книг, учебников…

Наша же мама любила только гуманитарные предметы и уроки танцев, которые были тогда обязательными. Учитель всегда показывал новый танец в паре с ней, потому что она никогда не наступала на ноги.

А страстью ее была музыка. Она пришла в музыкальную школу, будучи почти взрослой, заканчивая общеобразовательную. Училась у Вениамина Людвиговича Гауфлера. Гимназический друг Максимилиана Волошина, он был из крымских немцев. Жил в Берлине, получив там образование и статус профессора Берлинской консерватории, вернулся в Феодосию и основал существующую здесь до сих пор музыкальную школу.

Отношения мамы и Гауфлера были не просто отношениями учителя и ученицы. Они дружили. Он видел в ней дарование и готовил любимую ученицу в Одесскую консерваторию. Вениамин Людвигович приходил к маме домой и говорил бабушке: «Не заставляйте Симочку, уважаемая Татьяна Ивановна, заниматься бытом. У нее другое предназначение». Если бы не война, может быть, действительно мамина судьба сложилась иначе. Как, впрочем, у многих, кто пережил то время.

Мама с детства видела плохо, но очки носить отказывалась. Два раза Гауфлер покупал ей пенсне, но она по своей неприспособленности к повседневной жизни разбивала их чуть ли не в тот же день. Тогда он смирился и сказал: «Господь не хочет, чтобы вы видели, он хочет, чтобы вы чувствовали и слышали». Сам же Гауфлер пользовался слуховой трубкой, как Бетховен, и шутил, что это сходство примиряет его с недугом.

Разумеется, любимым маминым композитором стал Бетховен. У нас были ноты, подаренные Гауфлером: сонаты Бетховена с королевской печатью. С «Патетической» сонатой Бетховена мама выпускалась. Позже гауфлеровскими нотами с его пометками пользовалась в училище и в консерватории Надя. Потом они куда-то делись.

Мамина подруга, учившаяся тоже у Гауфлера несколькими классами младше, рассказывала: когда учитель занимался с мамой в классе, она, еще ребенком, сидела на полу под дверью и пребывала в каком-то эйфорическом восторге от звуков, наполнявших школу. Кроме мамы, так никто не играл.

Гауфлер часто баловал маму конфетами, говоря: «Симочка, не могли бы вы сбегать в кондитерскую за конфетами, ужасно хочется сладкого». Потом брал одну-две, а остальные незаметно

клал маме в портфель.

До конца жизни мама помнила своего педагога и друга, и все, что он ей успел дать, осталось в ней навсегда. Помню, когда Надя училась в консерватории и у нее возникали трудности с каким-нибудь сложным местом в произведении, мама всегда точно подсказывала, как работать над пассажем. И всегда слышала, если Надя «гнала порожняк»: «Лучше вообще не садиться за инструмент, чем играть вхолостую».

В молодости до войны мама работала тапером: немое кино тогда еще демонстрировалось наряду со звуковым. Играла она и в ресторане старинной центральной гостиницы «Астория». Когда-то здесь останавливались богатые люди, привыкшие поглощать пищу и вести светские беседы под ненавязчивый аккомпанемент рояля. В «Астории» перед отправлением из Феодосийского порта в Константинополь жили будущие эмигранты. Оттуда и Деникин бежал…

В Новосибирске за инструмент мама садилась редко. Но если садилась, то сначала обязательно брала несколько аккордов, тихонько, едва прикасаясь, как будто вытирала пыль с клавиш. Потом клала руки на колени и слева направо просматривала клавиатуру, словно что-то искала. Убирала пюпитр, покусывала губы и немножко откашливалась, как будто собиралась петь. Мы с Нанкой замирали и боялись шевельнуться, чтобы не вспугнуть ее. После всех приготовлений она могла осторожно закрыть инструмент, погладить его и отойти, сказав: «Нет. Не хочу. Не буду». Но если решалась, то звучали тут и вальсы Шопена, и танго, и фокстроты. А однажды она запела блатную песню: «По тундре, по широкой дороге, где мчится поезд Воркута — Ленинград…» Мы с Нанкой подлетели и спрашиваем: мол, что это? Она улыбнулась и сказала: «Отец ваш любил ее…»

Ништяк

В Новосибирске в мамины обязанности входило мыть полы в спортивном и актовом залах. Коридоры первого этажа тоже были ее территорией. Вечером мы с Надей приходили в школу и делали существенную часть работы. Мама подносила нам ведра: «Нельзя девочкам носить тяжести, и вредно для зрения». Еще одно несчастье свалилось на наши головы: у мамы на руках от воды и резиновых перчаток началась экзема, мы долго и мучительно ее лечили. Никто не должен был знать ни про экзему, ни про то, что мама почти не видит, иначе и этой работы у нас не было бы.

Сначала мы очень уставали, но потом освоились, и стало легко: размах швабры выписывал лежащую восьмерку, ты был в середине этой восьмерки, и получалось, что один человек мыл дорожку шириной в пять-шесть метров. Мы с Нанкой были очень сильные и выносливые, хоть и худые как палки. Помню, на физкультуре я влезла по канату до потолка буквально в мгновение ока. Физрук подошел ко мне и спросил, могу ли я так сделать еще раз. Я сделала еще раз. Он попросил еще. Я сделала в третий так же быстро, как и в первый. Он послушал мое спокойное дыхание и отошел, надолго задумавшись о сюрпризах природы. Никто же не знал, что мы с Нанкой полы драим каждый вечер.

А Нанка, когда мыла полы, еще и пела. У нее был сильный красивый голос. Закончив Новосибирскую консерваторию по классу фортепиано, она даже хотела ехать в Москву, в консерваторию — учиться вокалу. И наверняка поступила бы, если бы сама не отказалась от этой мысли. Нужно было работать, пока учусь я. Голос у нее — в папину маму, в бабушку Шуру. Та пела в церковном хоре, хоть и партийная была. Говорят, был очень красивый голос, якобы сама Обухова сказала ей об этом. Обухова ведь наезжала в Феодосию и пела в церковном хоре. В Феодосии певица и умерла.

В пустом спортзале с высокими потолками Нанкин голос звучал мощно. Мы с мамой застывали со швабрами в руках. Голос был круглый, на высоких и низких регистрах приобретал незнакомый оттенок и вертелся у нее в горле, как огненное колесо. Арии из опер, написанные для разных тембров, Надя исполняла с легкостью. Когда она пела в спортзале, я выбегала на улицу и слушала, что там говорят под окнами. Окна были высоко, и люди подпрыгивали, чтобы увидеть певицу. «А что там?» — спрашивала я любопытствующих. «Концерт у них! Ништяково

поет!» Я бежала к Нанке и сообщала, что «ништяк!». Здесь мы это слово встретили впервые. «Ништяк» — это «здорово».

Домино

Около колонки, под фонарным столбом, стоял грубо сколоченный стол, а на столешницу был прибит кусок гладкой фанеры. За этим столом собирались летом доминошники. В такие вечера хозяйки могли быть спокойны — мужья, пропадая в облаке папиросного дыма, до ночи «забивали козла» и оставались трезвыми. То и дело слышался мужской гогот и выстрелы костяшек. В застиранных майках, с потными плечами, на которых красовались синие татуировки, они хрипло кричали прокуренными глотками: «Рыба!» — и трепали за щеки стоящее рядом подрастающее поколение. Сложив руки под грудью, забыв про наполненные водой ведра, нежно наблюдали за азартными мужьями женщины. «Дуплись!» — надрывно требовал кто-то, женщины вздрагивали и, воспринимая крик как команду, подхватывали тяжелую ношу и покорно семенили к дому.

Доминошный стол сделал контуженный на войне дядя Федя, угрюмый одноногий мужик. В своем сарае он сколачивал ящики для фруктов и продавал на базаре. Смастерил и стол. Однажды вечером, когда стол был свободен от игроков, мы с девчонками приспособили его для сцены. Взбирались на него по очереди и пели песни. Совершенно неожиданно перед нами на костыле возник дядя Федя с палкой в руке и перекошенным лицом. Мы — врассыпную. Он — за нами. Бегал он по асфальту быстро, невзирая на возраст и одноногость, и палку метал довольно далеко. Чтобы дядя Федя не накрутил нам уши — чем он и славился, — спрятались в высокой траве и сидели там до темноты.

А потом стол кто-то спалил. Дядя Федя запил… Вечерами стало тихо у фонарного столба, зато чаще стали слышны из соседских окон скандалы и визги привычно поколачиваемых женщин.

Песни

В Феодосии вечером, когда рабочий народ, поужинав, готовился ко сну, мы, дети, сидя на теплых ступенях магазина, рассказывали друг другу на ночь страшилки: «И тут он вошел в черную комнату! А там… стоял черный-черный гроб! А в гробу… лежал черный-пречерный мертвец!» И, внезапно хватая друг друга за плечи, кричали, сами умирая от страха: «Отдай мое сердце!» Визг, писк, обиды, нервный смех, и вдруг ни с того ни с сего кто-то залихватски предлагал: «А давайте споем!» И мы начинали петь.

Не могу сказать, что это было слаженное, стройное пение. Не все обладали слухом и голосом, но петь — и громко — хотелось всем. Если кто-то врал слова или мотив, можно было просто зажать ему рот или заткнуть себе уши, и песня продолжала набирать обороты. Особенно мы любили цыганские песни, возникшие из странной смеси русской и тюремной классики:

Цыгане шумною толпою по Бессарабии бредут,
Гитары тащат за спиною и тихим голосом поют.
А подавай-ка, тятька, лошадь, да самую мохнатую,
А я поеду в шумный табор, цыганочку засватаю.

В конце песни спонтанно рождался жгучий танец. Раздираемые желанием подражать взрослой страсти, мы били себя по ляжкам, груди, пяткам, трясли плечами.

Были песни и «жальные».

Там вдали, где заходит луч солнца,
там вдали бушевала река,
поселился там табор цыганей,
там красивая Аза жила.

Помню, что Аза эта полюбила на свою погибель русого парня и зарезала его от ревности.

Аза ближе и ближе подходит,
вынимает серебряный нож
и красивому русому парню в сердце сунула —
хлынула кровь.

Потом бедняга Аза бросилась в реку, как водится в таких случаях у цыган.

И, бросаясь в реку, закричала:
«Не любите цыган никогда!»

Закончив песню, мы молчали и понимающе кивали головами: мол, с любовью не шутят, ясное дело.

В нашем репертуаре были песни и не столь душещипательные: «У моря, у синего моря», «Хмуриться не надо, Лада», «Опять от меня сбежала последняя электричка», «Черный кот»… Каждый хотел исполнить соло. Выходили на середину площади перед магазином (на нашу постоянную сцену) к фонарному столбу и, подражая любимым певцам, во все свои неокрепшие легкие горланили репертуар современной эстрады.

Моей коронкой было «Огромное небо одно на двоих». Подражая Пьехе, я поправляла на щеке несуществующий локон и делала французский акцент. Еще на славу удавалась мне песня из «Кавказской пленницы» про белых медведей. Я была внешне очень похожа на Наталью Варлей и, на зависть подругам, лихо танцевала твист.

У Нанки была одна любимая песня:

Осень. За окнами август.
От дождя потемнели кусты,
но я знаю, что я тебе нравлюсь,
как когда-то мне нравился ты-ы-ы-ы…

Одной рукой держась за столб, широко отбросив другую, Нанка накручивала круги и страдала нешуточно. То нежно касаясь столба кончиками пальцев, то вдруг резко выглядывая из-за него, как хищный зверь, то прислоняясь к нему спиной, она пела соседнему дереву, как будто там сидел ее любимый пацан. Это было эффектно, мне нравилась ее свободная манера держаться за столб, я гордилась ею. Уже тогда она пела лучше всех… Слушая ее, мы прекращали дурачиться и чувствовали себя глупыми, маленькими…

Песен мы знали много и пели до хрипоты. Когда «камерная сцена» нам надоедала, мы клали руки на плечи друг другу и так, обнявшись, растянувшись шеренгой, шли по Городку, горланя песни, как пьяные мужики. Внезапно появлялась какая-нибудь

нервная тетка и, уперев руки в боки, громко советовала нам переместиться ближе к своим дворам и устраивать «кошачий концерт» там. Мы нехотя прощались, с досадой осознавая, что хоровое пение в нашем Городке не скоро будет востребовано и оценено по достоинству.

Если бы не моя учеба, может быть, Нанка стала бы певицей. Но она всегда взваливала на себя тяжелый конец бревна, а мне оставляла легкий. Теперь, выйдя замуж за шведа и живя в Швеции, работает с хорами, но сама не поет. Совсем не поет.

Около подземного перехода у метро «Алексеевская» наблюдаю такую картину: бежит здоровенный пес через всю площадь и со всего маху бросается на грудь бомжу. Начинает лизать лицо и радостно выть. Тот кричит своим дружкам: «Мужики! Рекс вернулся! Идите сюда!» Те подбегают и давай Рекса обнимать, трепать. Рекс тоже, надо сказать, в ласках не утончен и покусывает их, будь здоров, бомжи вскрикивают от боли. Потом один другого спрашивает: «Сколько у нас там бабла?» И, получив ответ, распоряжается: мол, этого нам не покупай, а купи Рексу то, что он любит. Во как!

Тут же еще одну картину вспоминаю. Рядом с нашим рынком, около магазина «Спорт», в ухоженном скверике, где гуляют прилично одетые люди, на скамейке лежит бомж. Голова его покоится на коленях женщины, которая… читает книгу. Рядом стоят пакеты с их тряпьем, он спит, она машинально перебирает его волосы и… читает книгу! Пробегают чистенькие дети, что-то кричат друг другу. Громко кричат. Она приставляет палец к губам и говорит им: «Тс-с!»

Мне захотелось достать мобильный и незаметно снять на видео эту пару, чтоб потом показать Катьке. Но женщина вдруг подняла глаза и посмотрела на меня. Взгляд был спокойный и чистый. Устыдившись, я прошла мимо.

Счастливый мусорщик

В Городок приезжала мусорная машина. Она останавливалась между сараями. Из кабины выходил дядька замусоленного вида и, держа в руке большой колоколец, звонил в него изо всех сил. Люди тащили свои ведра и вываливали содержимое в кузов. Не все попадало в цель, кое-что оседало около машины, тогда водитель брал метлу или лопату и, бормоча себе под нос «каеха, раззява косорукая», собирал рассыпанное. Детвора, отталкивая друг друга, умоляла дядьку дать хоть разочек в жизни звякнуть колокольчиком. Дядька напрягал в раздумьях морщинистое лицо и неожиданно соглашался. Почти отрывая дверь машины, орава кидалась в прокуренную кабину и с потрескавшегося дерматинового сиденья цапала заветный колоколец. Сразу несколько рук держали деревянную ручку звонкого металла и расшатывали его веселый язык. В борьбе за право обладания этим музыкальным инструментом звук у нас получался тусклый и ленивый. Дядька с отвращением морщился и, не выдержав, пробирался через нас к своему скипетру со словами: «Цыц, хивря, смотри, как надо!»

Колоколец в его руке звучал так заливисто и звонко, что закладывало уши. Лицо его преображалось, освобождалось от морщин, в глазах появлялся покой. И казалось, нет в мире человека счастливее и чище, чем этот странный мусорщик, бьющий в свой медный, сияющий на солнце стакан.

Цветок

Однажды в Швеции мы с Нанкой, гуляя по лесу, остановились у деревянного столба с надписью: «На этом месте в начале девятнадцатого века был казнен разбойник-душегуб из Варгорды». Надя рассказала мне историю этой казни.

В соседнем городе Алингсосе вынесли смертный приговор преступнику, убивавшему и грабившему людей на дорогах. Так как он был родом из Варгорды, то и повезли его на казнь в родной город. В лесочке на поляне собрался народ. Дело было весной. В телеге привезли преступника в наручниках. Спокойно выслушав приговор, он выпил бутылку вина, востребованную им в качестве последнего желания, и смотрел на толпу с любопытством. Вдруг взгляд его остановился на цветке, росшем неподалеку. Он нагнулся, сорвал цветок, стал рассматривать и внезапно изумленно воскликнул: «Какой он красивый!» Толпа ахнула. Через минуту ему отрубили голову и бросили в телегу между ног обезглавленного тела. Рука казненного по-прежнему крепко держала цветок.

В память об этом событии жители поставили на месте казни деревянный столб. А записал историю судебный писарь, и документ этот сохранился.

Сказка

Жили-были два брата, Чама и Лева. Два алкаша. Наверное, им было лет под пятьдесят. А может, меньше. Или больше. Никто не знал. Было непонятно, кто из них Чама, а кто Лева, — похожи как две капли воды. Выяснялось это только тогда, когда один другого называл по имени. Мы видели их, когда они приходили к рыбакам на берег или сидели с мужиками на Мосту около магазина, где всегда собирались пьяницы. Их всегда можно было узнать издалека по силуэту: голова к голове, а ноги разъезжались. Вместе они похожи были на большую печатную букву «А».

Мы братьев не боялись, по-своему даже любили. Они были свои, наши. Какая-нибудь мамаша могла сказать своему дитяти: «Дашь мне конфетку? Не дашь? А Чаме с Левой дашь? Молодец, сынок! Добрый мальчик!» Чама с Левой от конфетки приходили в восторг и начинали дробно смеяться, морща носы и оголяя пустые десны. Мужики всегда угощали их папиросами, и те деловито закладывали курево за уши про запас. Продавщицы бочкового вина или пива наливали им всегда бесплатно. Напившись, братья спали в обнимку где-нибудь в кустах, и никто их не обижал, никто не отбирал мелочь. Они были безобидны, хоть и не совсем в своем уме. Как обезьяны, отряхивали друг друга, расчесывали, вынимали соринки из глаз. Их отношения строились на взаимной любви, которая окружающих обезоруживала и, как ни странно, делала добрее.

Позже мы узнали, что во время войны Чама и Лева оказались в партизанском отряде. Немцы схватили братьев и мучили на глазах друг у друга, добиваясь от них сведений о местонахождении партизан, но те так ничего и не рассказали. Каким-то чудом они выжили. Потом спились и потеряли разум. А любовь осталась.

Вот такие Чама и Лева жили рядом с нами в одном городе Феодосии… Вот такая сказка.

Набережная

Набережная в приморских городах — самое любимое место всех приезжих и местных жителей. Днем она ничем особенным не отличалась от других улиц города. Народ торопился на прогулочные катера, на пирсе удили рыбу сонные рыболовы и мелкий улов бросали кошкам. У ротонды фотографировались дети в панамках, влюбленные в соломенных шляпах, целые семьи в картонных козырьках на резинках. Голос рупора настойчиво и неотвязно приглашал на экскурсии.

На набережной стояли удобные скамейки, на них сидели в основном местные жители пожилого возраста. На дамах можно было увидеть шляпки и даже кружевные перчатки. Пенсионеры беззастенчиво вытягивали подагрические ноги, на правах хозяев клали перед собой — опасно для прохожих — свои отполированные палки и кормили голубей, вглядываясь бесцветными глазами в морскую даль. Здесь же кто-то играл в шашки, кто-то — в шахматы. Всё, как всегда. Но вечером набережная менялась.

С сумерками она становилась все оживленнее. Включались желтые фонари, на черном масленом море подсвечивались корабли, стоящие на рейде, и весь живой люд нескончаемым потоком начинал дефилировать по набережной. Морской воздух перемешивался с ароматом духов, опьяняя старых и малых.

Мама встречала здесь своих приятельниц, начиналась нескончаемая беседа, а мы с Нанкой рассматривали проходящих мимо красавиц. Женщины были похожи на ярких райских птиц. Струились платья всевозможных фасонов и расцветок, туфли и босоножки звонко цокали в разных ритмах, привлекая взгляды и без того радостно возбужденных моряков, сошедших наконец-то на берег. Моряки ходили по набережной небольшими группами или шеренгами и синхронно поворачивали головы на любой женский щебет. Штатские мужчины при вечернем освещении фосфоресцировали своими белыми рубашками и зубами. Всюду смех, блеск глаз, готовность влюбиться сию минуту раз и навсегда.

Феодосийские девушки всегда славились среди приезжих яркостью и красотой, неплохим матросским юмором и умением выживать в любой шторм. Все выходы «в свет» — это попытка уехать из Феодосии навсегда. Лучше в Москву. Можно в Ленинград. На худой конец, в Киев или Одессу. Многим это удавалось, и никто не жаловался. Те, кто оставались, работали в лучшем случае в библиотеке, музеях, остальные — на табачной

или чулочной фабриках.

Все силы родителей были брошены на курортный сезон. Отложенные деньги, вырученные от квартирантов, шли на пошив нарядов для дочерей, а на постой мамаши потенциальных невест приводили интересных, с университетским образованием столичных ребят. И все лето феодосийская семья вынуждена была изображать современных интеллигентных людей.

Часто можно было слышать примерно такой разговор: «Вон идет Людочка, Марьи Ивановны дочка, в голубом платье с белым поясом. Второй сезон гуляет, а жениха себе так и не нашла. А Машенька Анны Петровны отчаялась, бедняжка, пала духом и выскочила за моряка».

Мы с Нанкой слушали такие разговоры и думали, что в нашей жизни все будет иначе. Приедут принцы на белых конях, упадут перед нашей мамой на колени, попросят они у нее «руку и сердце вашей дочери». И все будет как надо, как положено, потому что так должно быть, и все!

Хляби небесные

Мама сказала, что возьмет в школе еще одну работу — сторожа школы, и тогда нам материально будет полегче. Спать, правда, надо будет в школе, через двое суток на третьи, и еще — чистить от снега небольшую территорию перед крыльцом. Мы тогда не знали, что уборка снега — это работа дворника, и за нее должны платить отдельно. Маме не платили.

В Новосибирске зимой снег идет почти каждый день. Сугробы под окном — до второго этажа. Чтобы закинуть лопату снега на такой сугроб, нужны силы. Откуда-то они у нас были. Мы выходили работать втроем. Была какая-то здоровая злость на нашу «треклятую жизнь», и нельзя было допустить, чтобы мама пала духом.

Когда в обычных семьях пили чай и ложились спать, мы брали лопаты и шли бороться со стихией. На улице стояла темень, и только тарелки фонарей поскрипывали в снежной метели. Когда кругом все было ровное и белое, мама плохо видела границы между убранным снегом и неубранным, поэтому ее мы ставили на двуручную лопату-скребок в паре со мной или с Надей, как старую лошадь с молодой.

Наш маленький участок на деле оказался огромным. Сейчас, вспоминая о том периоде нашей жизни, удивляюсь, как мы, три «грации», смогли «перелопатить Сибирь». В тридцатиградусные морозы от нас шел пар, после двух-трех часов работы мы были мокрые от пота. Директриса школы требовала, чтобы обязательно была «бровка», ровный кантик на сугробе, то есть прямой угол, по которому можно было бы определить аккуратность работы. Иначе работа забраковывалась. Мы проклинали эту «бровку», но старались ее соблюдать.

На ночь мы проверяли в школе все запоры и в раздевалке спортзала ложились спать на стульях, укрываясь нашими пальто. Было холодно и жестко, стулья разъезжались, но мы все равно засыпали как убитые — работа на свежем воздухе способствовала здоровому гренадерскому сну. А молитва на ночь была простая: «Господи, сделай так, чтоб снег сегодня больше не шел».

Утром, часов в пять, мама в панике нас будила: «Дети, вставайте! Ночью снега навалило». И, как солдаты по тревоге, мы бежали с оружием в руках сражаться с тем, что обрушилось из хлябей небесных.

Зимнее небо

Зимой в Крыму небо бывало абсолютно розовым, и серые большущие хлопья снега медленно кружились, как птичий пух. Снежинки, пока летели до земли, прилипали друг к другу, превращались в комочки и, попадая на рукав, рассыпались кляксами. В такие дни мы, дети, выйдя на улицу с санками, забывали кататься и, разинув рты, пялились в небо. За какие-то десять минут вся серость красок земли становилась забеленной снегом, сливалась с розовостью неба, и картинка эта начинала напоминать сказки Андерсена.

Когда падает такой снег, вдруг становится слышна тишина. В детстве мы ложились на спину, ловили ртом мгновенно таявшие снежинки и смотрели в небо. Наступали покой и тихое счастье.

Мост

В центре Новосибирска маленьких деревянных домов оставалось мало, только на окраине. В основном — дома каменные, большие, улицы широкие, расстояния огромные. Мост через Обь был длинный и высокий. В шестидесятые годы летчик Привалов самовольно пролетел под мостом в метре от воды, чем вызвал шок у руководства и восхищение народа. На этом высоченном мосту в первую нашу зиму Надя стояла и думала: а не броситься ли ей вниз?

Дело в том, что Нанкина учеба в музыкальном училище началась в сентябре, в октябре и мы с мамой переехали, а контейнер с нашими вещами и стареньким пианино «Берлин» еще два месяца был в пути. Наде приходилось заниматься или в училище, или в моей школе на жутком инструменте, прозванном нами «дрова». Через три месяца педагог сказал: «Знаешь, Надя, ты поступала блестяще, и мы знали, кого берем, но ты не оправдываешь наших надежд. Может, тебе не нужно заниматься музыкой? Может, твоя мать сделала ошибку, привезя вас сюда?» У Нанки волосы зашевелились на голове, когда она поняла, что одна виновата во всех наших трудностях. Потом рассказывала мне: шел снег, останавливались водители, предлагали подвезти, а она все стояла и думала. Страшно было не прыгнуть, а представить себе, что будет потом с нами. И она перешла этот мост.

Позже она выдавала результаты, которых от нее ждали, была одной из самых ярких учениц и почти забыла тот момент, когда в свои только что исполнившиеся пятнадцать лет делала выбор между жизнью и смертью.

Волк

Когда я маленькой Катьке читала «Красную Шапочку», она с восторгом слушала про все ужасы, творимые волком с доброй внучкой и ее старенькой больной бабушкой. Как только на горизонте появлялись дровосеки, которые должны были храбро вспороть волку брюхо, Катька отбирала у меня книгу. Спокойно глядя мне в лицо, закрывала ее и властно говорила: «Хватит». Я не понимала: почему? Может, я как-то неправильно интонирую? В следующий раз, читая, я стала еще определенней обозначать контраст между добрыми персонажами и злыми. Эффект тот же. Почему ей не страшно, когда волк ест Красную Шапочку и ее бабуленьку? Почему их ей не жалко? И почему ей не хочется, чтобы волку распороли пузо и оттуда друг за другом повыскакивали живые и невредимые потерпевшие? Только потом я поняла, в чем дело.

Все превращения волка Катьку совершенно не пугали! Волк играл в театр, к которому она привыкла! В семье все были актеры. А волк — артист. Он изобретателен: переодевается, подделывает свой голос под бабушкин, ложится в постель, надевает очки и искусно ведет диалог! Он талантлив! А дровосеки — просто убийцы. Они пришли и убили. Талант загубили!

Небесные игры

Однажды вечером мы с девчонками играли около дома в волейбол. Подошла, возвращаясь с работы, мама, остановилась, поставила сумку на землю и стала с нами играть. Так было один раз и больше никогда не повторялось. Она довольно ловко отбивала мяч, принимала подачи, и я с удивлением узнала, что мама умеет играть. Вдруг она остановилась и сказала: «Дети, посмотрите на небо». Мы подняли головы и замерли: золотой цвет там сменялся зеленым, зеленый — фиолетовым, фиолетовый — красным. Луч солнца вдруг дырявил какую-нибудь тучу и, как прожектор, светил вниз — к нам, на нас, в нас. Там, вверху, разворачивался какой-то мощный сюжет. Кто-то куда-то мчался, кого-то догонял, и мы были свидетелями этих небесных игр.

До сих пор передо мной картина: мама, единственный раз с нами игравшая, ощущение страха-восторга от надвигающейся громады света и облаков. В Крыму, как известно, начинает темнеть рано и ночи там черные. А звезды разноцветные: розовые, желтые, голубые, зеленые — висят, как перезревшие плоды, и иногда бесшумно падают. Когда я была маленькая, я часто смотрела на звезды. Казалось, что там, высоко, у меня есть свой дом, к которому я иду и где мне будут рады. Мы с луной таращились друг на друга и всё пытались что-то понять. Иногда она исчезала, и тогда между Генуэзских крепостей повисал тоненький серп, такой хрупкий и такой острый, что я, мысленно трогая его пальцем, ощущала колючесть и слышала тихий звон.

На дни рождения мама дарила нам книги. В отрочестве она открыла для себя Жюля Верна, Фенимора Купера, Вальтера Скотта, Дюма, Стивенсона, Грина и очень огорчалась, что они прошли мимо нас с Нанкой: «Этих авторов надо читать в зеленом возрасте. Они учат человека мечтать. Позже нет смысла». Но нас приключения не увлекали, и этих писателей, кроме Дюма и Грина, мы так и не осилили. А русская литература стала нашей общей любовью.

И к нашему пониманию поэзии мама приложила руку. Многое знала наизусть. Есенин был запрещен в ее молодые годы, но она где-то доставала его стихи. Любила Некрасова, Фета, Тютчева, Маяковского.

В Новосибирске мы с Нанкой стали читать запоем. Во времена книжного дефицита художественную литературу покупали в обмен на макулатуру: сдаешь двадцать килограммов ненужной

бумаги и взамен получаешь талон на определенный том. А выбор был небольшой. Часто в разных квартирах на одинаковых полках стояли и одинаковые книги.

Библиотеки были скудными, достать современную литературу было сложно. Брали у друзей, знакомых, читали «в очередь». Бывало так, что книгу давали на один-два дня или вообще на ночь. В хорошем темпе мы прочитывали вслух Аксенова, Солженицына, из зарубежных авторов — Ремарка, Доктороу, Гессе и многих других. Одна лежит в ванне, другая читает, по такому же принципу — читали и одновременно стирали, мыли посуду, готовили еду. Так друг за другом и ходили, читали вслух не переставая. И мама, всю жизнь не выпускавшая из рук книги и потерявшая на этом зрение, бывала иногда недовольна тем, что мы сутки напролет читаем: «Ну, что вы вцепились в эту книгу? Посмотрите вокруг! Жизнь интересней любой книги».

Дом Книги в Новосибирске, в котором мы с Нанкой так часто и с удовольствием бывали в поисках новинок, стоит на Красном проспекте. Когда мы только переехали, посередине Красного проспекта во всю его длину шли бульвары, весной благоухавшие сиренью, ранетками, черемухой. В мае Красный проспект становился совсем белым. Это было одно из самых красивых мест Новосибирска. Позже, когда строили метро, всю эту красоту снесли. Теперь, живя в Москве на проспекте Мира и вспоминая Красный без бульваров, я ловлю себя на мысли, что эти улицы похожи — шириной, сталинской архитектурой. Что-то есть созвучное в них…

Счастье

Недалеко от Красного проспекта в двухэтажном старинном деревянном особняке около цирка, на котором долго красовалась афиша Ирины Бугримовой в обнимку с растрепанными львами, находилось Надино старое музыкальное училище (потом выстроили новое здание). Когда усадьба наполнялась всевозможными музыкальными звуками, казалось, стены ветхого дома не выдержат и развалятся как карточный домик. Народ учился веселый. Зимой на улице около туалета будущие музыканты мужского пола струей мочи выписывали на снегу скрипичные и басовые ключи.

После переезда в Новосибирск мы с Нанкой почти не разлучались. Любое свободное время мы старались провести вместе. Через весь город я ехала к ней в училище, а позже — в «консу». И мы гуляли, говорили, взрослели. Нам было все равно, что делать, лишь бы вдвоем.

Находившись по городу до одури, мы заходили в стоячую пирожковую напротив Дома офицеров, около ЗАГСа. Каких только пирожков там не было! Жареные, печеные, со всевозможными начинками! Бульон с яйцом! Мечта, а не пирожковая!

Учась уже в консерватории, Надя, как и многие студенты, оставалась иногда заниматься там ночью. Называлось это «уйти в ночное». Я ходила с ней, так было веселее. Вахтеры меня любили и давали ключи от лучших классов. Пока Нанка занималась, я читала. Дома мы даже некоторые ее задания делали вместе. Она не успевала сдавать конспекты по всяким марксистско-ленинским философиям, и я, тихонечко ругаясь, переписывала коммунистическую галиматью, отмеченную Надиным карандашом, ей в тетрадку. А она в это время сидела, задачки по гармонии решала. Мама, то и дело просыпаясь, гнала нас в постель. Мы врали ей, что еще не так поздно, мы успеем выспаться, она верила и снова засыпала.

Как вернуть то время? Ведь это и было счастье, только мы тогда этого не знали.

Болезнь мамы

Мама часто простужалась. Может быть, потому, что во время войны перенесла туберкулез. Об этом она узнала случайно, уже в мирное время: надо было устраиваться на работу и проходить медкомиссию, и тогда в ее легких обнаружили заизвестковавшиеся каверны.

Однажды зимой она заболела тяжелым гриппом. Мне было около четырех лет, а Нанке, соответственно, — около семи. Мама лежала на кровати и почти все время спала. В доме было холодно — печи топить некому. Есть тоже было нечего, кроме сухарей из духовки. Мама дала нам три рубля и сказала: «Купите мяса и два лимона». В нашем магазине мясом не торговали, надо было идти в центр, в «Военторг».

В магазине продавщица через широкую металлическую воронку наливала во флягу из большой железной бочки подсолнечное масло. У прилавка стояла небольшая очередь и терпеливо ждала. За стеклом лежали открытые картонные коробки со сливочным и шоколадным маслом, огромный квадрат яблочного повидла, халва, конская красная колбаса и кольца другой, ливерной. Шоколадки красовались в закрученных веером стопках, а в вазах на тонких ножках — букеты конфет. На полках стояли бутылки с разными винами.

Взглянув на витрину, мы сразу подошли к продавщице. Нанка протянула ей три рубля: «Мяса и два лимона!» — потребовала она. Очередь засмеялась. Нанка обернулась и очень серьезно сказала: «У нас мама дома болеет. Надо ей сварить суп». «А папка-то, что же, не помогает?» — спросила какая-то тетка. «Папка-то? — переспросила Нанка и на секунду задумалась. — Папка-то взял и… умер», и она для убедительности развела руками. Я тоже на всякий случай развела руками.

Смех прекратился. Из очереди к прилавку подошел мужчина в морской форме и, обращаясь к продавщице, сказал: «Красавица, а ну-ка взвесь-ка во-о-н тот кусок». На крюке висел здоровый кусок мякоти. Продавщица округлила глазки. Офицер добавил: «Давай, милая, скоренько. Я заплачу». Авоська с мясом растянулась до пола. Мои карманы оттопыривали два лимона. «Донесете?» — спросил мужчина. «Донесем! Мы сильные!» Когда мы приперли этот кусман домой, мама не поверила своим глазам. Мы рассказали ей про доброго дядю, и она почему-то закрыла лицо руками. Через минуту встала и пошла на кухню варить мясо.

В другой раз мама заболела уже не зимой, а весной, когда набухали почки сирени и в воздухе запахло теплом. Слабым

голосом она попросила воды и с трудом, через паузы, сказала, что мы должны вызвать ей врача. Мы побежали так быстро, как могут бежать только насмерть напуганные дети. Когда мы вбежали в поликлинику и увидели, сколько там толпится народу, мы закричали на весь зал: «Вызываем врача! У нас мама заболела! Где врач?» К нам подбежали люди и стали спрашивать адрес, мы называли адрес и снова кричали: «Вызываем врача! Врач! Где врач? Мы тебя вызываем!» Нам начали объяснять, что врача мы уже вызвали, что он поехал к маме на машине, что мы можем идти домой.

Обратно мы бежали уже не так быстро, в боку кололо, да и сил уже не было. На земле валялась моя ленточка, потерявшаяся по дороге туда, я обрадовалась ей и намотала на руку. У нашей калитки мы увидели «скорую» и шептавшихся о чем-то соседей. К нам подошла знакомая девчонка и сказала, что если наша мама умрет, то мы с Нанкой будем жить с ними. Их четверо сестер, и им все равно, сколько их еще будет. Мы вошли к маме, она подписывала врачу какую-то бумагу, и он уехал, оставив после себя на столе сломанные ампулы и запах лекарств. «Ты не умрешь?» — строго спросили мы. «Нет», — твердо ответила она.

В Сибири у нас с Нанкой тоже стало падать зрение, но маме мы об этом не говорили. Мама была инвалидом по зрению и очень боялась этой наследственности для нас. Ее пенсия по инвалидности была смехотворна. Нужно было заработать еще несколько диоптрий, чтобы получить место в обществе слепых, где щадящий труд и «теплая» работа. Через пару лет она приобрела недостающие диоптрии и еще парочку смертельных диагнозов.

Мама могла умереть еще в Новосибирске, но не умерла.

Выхожу из маршрутки на углу Бочкова и проспекта Мира. Хочу купить яблоки на рынке. Лет пятнадцать назад я торговала клинскими колбасами на нашем Ярославском рынке у метро «Алексеевская». Денег тогда не было, работы тоже, впрочем, как и сейчас. Позвонила мне мой бывший педагог из театрального института (доцент) и предложила поторговать с месяц колбасой — ей нужна была сменщица. Я с радостью согласилась. Авантюра чистой воды, потому что деньги и я — вещи несовместимые. А тут — торговать! Но, как ни странно, я научилась и колбасу взвешивать, и чеки выбивать.

Однажды двое мужчин покупали у меня сосиски, и один сказал другому: «Что же это у нас сейчас в стране происходит, если такие женщины на рынке колбасой торгуют?»

Что же это у нас происходит? Может быть, так нужно,

чтобы сапожник пек пироги, а пирожник шил сапоги?

Недоразумение

Мама вспоминала. Рынок. Оккупированная немцами Феодосия. 1943 год, февраль. Воскресный солнечный день. Народ толпится у прилавков, лотков. Внезапно небо темнеет, и над рынком низко пролетают советские самолеты. Наши! Это наши! Самолеты делают круг, возвращаются на второй и внезапно начинают сбрасывать бомбы. Каша, людское кровавое месиво. Через минуту-две от солнечного февральского дня осталась черная, дымящаяся, вся в свежих воронках площадь, забросанная изуродованными телами.

«Сима, Валя, ваша мама, раненная, на базаре у молочного ряда лежит». Они бегут. Не пройти — всюду трупы. Молочный ряд, убитая лошадь, мертвые дети, мольберт, кисти, голова. Голова Константина Богаевского, друга Максимилиана Волошина, того самого художника, у которого учился отец. Мама его хорошо знала, его весь город знал. А у стены лежит с развороченным животом бабушка Таня, которой нет и сорока лет. Осколок застрял в печени.

Приехали немцы на грузовиках и стали развозить раненых по своим госпиталям. Родственников в машины не брали, поэтому мама с Валентином, который прижимал к груди бабушкины окровавленные туфли, бежали за грузовиком. Бабушка умерла через пару часов, успев попросить у мамы прощения за то, что любила Валентина больше, чем ее.

Что это была за бомбежка? Чья-то ошибка? Недоразумение? Может быть, это было кому-нибудь нужно?

…Забыла, зачем пришла на рынок. За яблоками.

С детства люблю семеренку, и у меня нет на нее аллергии. Покупаю яблоки у чернявой здоровой тетки. Божится, что яблоки из ее сада, а я знаю, что врет, но покупаю.

Бойцы

В Феодосии в пору созревания фруктов некоторые бабы из Городка надевали на спину рюкзаки, брали ведра в руки и уходили *джимболосить*. *Джимболосить* на крымском диалекте — воровать из колхозных садов. Джимболосили женщины хорошего телосложения: с крепкими ногами и руками, с мощной глоткой. Одевались они одинаково: солдатские юбки и мужские майки; из подмышек торчали ржавые пуки волос, на голове — химия, на ногах — кеды. Когда такая женщина появлялась с трофеями в Городке, было полное ощущение, что это солдат вернулся из боя к матери-старушке. А если их было несколько, то и вовсе появлялось ощущение захвата мирной территории. На самом деле это были или матери-одиночки, или разведенки. Дети бежали им навстречу как к победителям.

Сполоснув обожженные солнцем лица, они тут же принимались торговать у себя в палисаднике натыренным добром. Наш Городок находился довольно далеко от рынка, поэтому было очень удобно купить фрукты у них, да и цены они не ломили, старались побыстрее сбагрить скоропортящийся товар. «Мама, тетя Глаша такой виноград красивый принесла! Купи! Все покупают!» — попросила я. Мама метнула на меня дикий взгляд и тихо сказала: «Я своих детей ворованным виноградом кормить не буду! Запомни это раз и навсегда!» Так мы и не попробовали этих красивых, добытых в бою фруктов. А хотелось… Наша мама была строгих правил.

Последняя гастроль

Седьмого марта в школьном актовом зале, как обычно, поздравляли учителей. Намечался банкет. Обслуживающий персонал не приглашали, выдав под расписку какие-то подарки или материальную помощь, не помню. В этот день дежурство выпало на маму. Мы с Надей хотели отработать вместо нее, но она категорически нам запретила.

Вечером мы решили забежать в школу. Мама сидела на стуле в коридоре, прислонившись спиной к батарее, и читала газету. Увидев нас, обрадовалась. Из актового зала доносились смех и звон посуды. Пахло винегретом. Внезапно открылась дверь — выходили проветриться. Кто-то подошел к маме и предложил ей зайти перекусить — пока за столом свободно. Мама поблагодарила и сказала, что пообедала дома. Мы с Нанкой стиснули зубы и стали гнать маму домой. Она зашипела на нас: мол, не положено, хотите, чтоб меня с работы выгнали и мы с голоду подохли? Тут вышла подвыпившая компания веселых молодых учителей: «Серафима Пантелеймоновна, у вас ведь дочь музыке учится. В зале вон пианино стоит, а играть некому. Пусть она нам сыграет, а то скучно». Нанка сразу в стойку: «Вам скучно?! Хм, странно! Вы ведь такие интересные люди!» Мама поняла, что надо срочно уводить от нас народ, и сказала как-то отчаянно: «А знаете что, давайте я вам сыграю! Я когда-то умела!» Никто еще ничего не понял, а она уже шла корпусом вперед между столов, снимая на ходу синий халат.

Мы с Нанкой остановились в дверях и напряженно следили за маминой последней гастролью. Она открыла крышку, села на стул, бесшумно прощупала клавиатуру, поискала что-то между клавишами и стала играть. Никто не танцевал, не пел, не говорил, не шептался. Немая сцена. Наконец, проведя очередное глиссандо, она поднесла руки к глазам, посмотрела на них внимательно и, улыбнувшись, сказала самой себе: «Помнят!» Потом бесшумно закрыла крышку. Встала и пошла. Ее догнал наш физик и поцеловал руку, она никак не отреагировала. Подскочил военрук — пожал маме руку. Мама продолжала никого не видеть, вышла в коридор, надела свой синий халат и схватилась за газету. Мы, молча, стояли рядом.

Я, не глядя, не разжимая губ, тихо спросила: «Тебе Анатолий Иванович руку, что ли, поцеловал?» Она так же, глядя в газету, в ответ: «Нормальный жест. Для нормального человека». Я: «А военрук?» Мама: «Пожал. Нормальный жест. Для нормального

военрука». Потом посмотрела на нас весело и сказала: «Дуйте домой. Сегодня интересного уже ничего не будет».

В Новосибирске недалеко от магазина «Синтетика» был зоопарк, а напротив него — рынок. Восьмого марта рано утром мы с Нанкой ездили на этот рынок покупать маме три тюльпана и везли их через весь город, завернув в несколько газет, чтоб не замерзли. Она любила все весенние цветы — сирень, жасмин, фиалки, подснежники и тюльпаны. Тюльпаны в Сибири были, но дорогие, их привозили издалека, а для нас это был еще и привет с юга.

Подарки

В Феодосии мама давала нам в школу деньги на завтраки, но мы с Нанкой откладывали их на свои нужды, а с собой брали яблоки. Каждый день мы пересчитывали наши сбережения и прятали в потайное место. Все как у людей. Например, была у нас задача к Восьмому марта и ко дню рождения купить маме подарок. Маленькими мы дарили ей свои рисунки, аппликации, стихи и песни, а став постарше — тюльпаны и какую-то дешевую дребедень, купленную на сэкономленные гроши. Каждый раз после таких поздравлений мама ругала нас за то, что мы не едим в школе, а копим на всякую ерунду. Говорила, что не есть вовремя вредно для юных организмов, что мозги тогда перестанут работать окончательно и бесповоротно. И, вообще, мы ее обманули, и она больше не будет давать нам денег. Но на самом деле — мы знали — ей было очень приятно наше внимание.

Перед отъездом в Сибирь мы купили ей духи «Белая сирень» с притертой пробкой. Продавщица в парфюмерном магазине, увидев высыпанную на стекло прилавка мелочь, всплеснула руками: «Сколько ж вы не ели?» Этот вопрос мы боялись услышать и от мамы, но мама, увидев «Белую сирень», посмотрела на нас и сказала почти шепотом, что духов ей еще никто не дарил.

Мы знали, что у мамы в отдельном месте лежат папины подарки — бирюзовая крепдешиновая косынка с ландышами и белые рифленые бусы. Ничего этого она не носила, но иногда доставала и смотрела. Когда мы спрашивали, почему не носит, она отвечала, что это ей не идет, но нам не отдавала.

Перед отъездом в Сибирь был еще один наш подарок на день рождения — платок. Нежный шелковый платок с ветками сирени. Его она носила и очень любила. В 1991 году в Муроме мы ее в нем похоронили.

Еще раз про любовь

Однажды, гостя у Нанки в Швеции, мы присутствовали на похоронах матери нашего общего приятеля. В церкви у закрытого гроба стояли родственники усопшей, без труда сдерживая слезы. После торжественного слова пастора осиротевшие близкие, понурившись, вышли из храма и стали бодро рассаживаться по своим машинам. Могильщики, в своих элегантных костюмах похожие на конферансье, поставили гроб на тележку и покатили к месту захоронения — здесь же, неподалеку. Мы робко поинтересовались у нашего приятеля, почему присутствующие не остаются до конца церемонии. Тот вперил в нас лучезарно-голубой взгляд: «Я попрощался с матерью, остальное — дело рук похоронных служб».

Мы были поражены холодностью похорон и, придя домой, с жаром обсуждали это. В моей голове не укладывались простые вещи: жизнь, смерть, любовь, потеря, мать, дитя, долг… Пятилетняя Катя слушала нас внимательно. Увидев, что я не на шутку озадачена, она обхватила меня руками и зашептала в самое ухо: «Не волнуйся, мамочка! Когда ты умрешь, я не уйду, пока тебя хорошенько не закопают!» Я заплакала. Это было высшее проявление любви моей маленькой дочери.

Парад 9 Мая

У мамы была большая черная квадратная коробка, на ней была нарисована женщина в длинном платье с веером в руках. Там лежали какие-то открытки, кружевные перчатки, сеточка для волос, что-то еще и надувные шарики. Утром мама открыла ее и сказала, что мы идем на парад. Надули шары. Из репродукторов на всю улицу гремела музыка, народу было много, и почти все бежали в одну сторону. Оказалось, не мы одни с шарами, а у некоторых детей были еще и флажки! Нас с Нанкой поставили у красной ленты, протянутой от дерева к дереву и отделявшей от нас дорогу. Все замерли. Стало тихо. Кто-то сказал: «Идут!» Вдалеке послышался незнакомый ритмичный звук. Стало страшно. Через какое-то время в конце улицы появились люди. Они шли прямо на нас.

Это были военные. Они с силой били ногами асфальт и очень строго смотрели в сторону. Звенели блестящие медали на груди, щеки тряслись, фуражки подскакивали на головах. Кругом стали что-то кричать, бросать цветы. Началось сильное движение за спиной. Вдруг забил барабан, и я увидела оркестр! Все засверкало перед глазами: большие блестящие железные тарелки, труба, намотанная на человека, большие колокольчики, дядька с султанчиками над головой, остервенело машущий палкой. А барабан! Это была очень громкая музыка! Она привела меня в такой восторг, что хотелось плакать. Взрослые тоже плакали и тут же жалобно кричали «ура!». Военные все шли и шли. Особенно понравились моряки. Их белые бескозырки с развевающимися ленточками!

После окончания парада все побежали в парк, прыгая через ровно постриженные кусты. На улице оставались лежать раздавленные цветы и отвалившиеся от военных сапог подметки. До наступления темноты по улицам бесцельно бродили усталые семьи: мамы с детьми тянули под руки совсем пьяных пап.

Свобода

Новосибирские парады. Мы стоим на площади Ленина с Надиными однокурсниками по консерватории. Еще холодно, но мы в капроновых чулках. На головах береты, изо рта пар. Мальчишки уже хлебнули из бутылки и предлагают девушкам, те смеются, от вина отказываются, но закуску, карамельку, берут. У всех на уме одно: куда деть транспаранты и как убежать, раствориться в праздничной толпе, затеряться, пойти в парк, в кино, куда-нибудь, только не строем и не по команде. В укромный закуток между домами ставятся флаг и гигантская гвоздика из папиросной бумаги. Все! Свобода!

Погранка

Детьми мы бегали на погранзаставу, за что нас мама страшно ругала, иногда даже попадало скакалкой. Мы же не видели ничего плохого в том, что пограничники разрешали нам кататься на канате, висеть на кольцах и брусьях на спортивной площадке, смотреть щенков, когда они появлялись у свирепых овчарок, угощаться на кухне жареной рыбой с картошкой. Бывало, нас катали на военных машинах. Погранцы разрешали нам рвать миндаль на территории и даже сами нагибали ветки. Знали нас в лицо, а некоторых даже по имени. Мы рассказывали им свои детские байки, и они с интересом слушали их.

Когда на спортивную площадку прилетал пограничный вертолет, мы бежали смотреть. От страшного грохота закладывало уши, а от винта шел такой мощный поток воздуха, что, казалось, можно с легкостью взлететь без крыльев. Девушки постарше и улетали — заводились романы. У ворот погранзаставы можно было увидеть то целующуюся пару, то девушку из Городка с заплаканными глазами.

Иногда пограничники встречались нам на берегу: по команде человек двадцать бросались в море в белых кальсонах. Взбивая пену, по-мальчишечьи гоняли мяч, дурашливо притапливая друг друга. На наших спортивных площадках они играли в волейбол и футбол, а мы с радостью приносили укатившиеся в бурьян мячи. Казалось смешным и нелепым, что эти взрослые могучие дяди ведут себя как соседские пацаны. А солдатикам было по восемнадцать — двадцать.

Нам нравились пограничники. У них всегда было оружие при себе, и на вышках они смотрелись очень мужественно, как на картинках в книжках про разведчиков.

Однажды мы с девчонками влезли на высокий забор и увидели, что на плацу стоят наши любимцы, вытянувшиеся в струнку, а какой-то начальник ходит взад-вперед вдоль строя, кричит и ругается матом. Наша Галка заорала с забора: «Эй ты, говно засратое! Думаешь, ты начальник и тебе все можно?» Офицер растерянно оглянулся, а Галка продолжала: «Если ты еще раз матюкнешься на наших друзей, то мой папа тебе, знаешь, что сделает?!» Тут Галка стала в таких красках перечислять, что может сделать всемогущий папа, что мы открыли рты, а на начальнике приподнялась фуражка. Пограничники с трудом продолжали стоять по стойке «смирно». Вдруг двое рядовых ринулись к забору, на котором сидели мы. Стало ясно, что надо тикать, сматываться, и как можно быстрее.

Земля была сухая, вся в острых камнях, сандалии скользили, мы рисковали в кровь разбиться на крутых поворотах. Сапоги за спиной уверенно и равномерно стучали, приближаясь. Я остановилась, и сапоги простучали вперед. Галка мчалась не оглядываясь, а бегала она хорошо. Постепенно все поняли, что нужна только Галка, и остановились. Она рванула в гору, и ее, конечно, поймали. Придерживая ее за шиворот, они что-то там говорили. Подойдя, мы изумились. «Повтори, что ты сказала! А что еще твой папа говорит?» — Пограничники катались со смеху. Галка вошла в раж, и рот у нее не закрывался. Покурив и придя в себя, они сказали: «Мы тебя не поймали, поняла? И вообще, недельку не показывайтесь тут. Через неделю он уедет». Мы смотрели им вслед и думали: «Все-таки они добрые, эти пограничники, а мама не верит!» Неделю на заставу мы честно не ходили.

Ноги промокли, не заболеть бы. Надо чаю горячего и в ванну! В Крыму мы никогда не пили столько чая, как в Сибири. Там чайниками пьют! Могут просто гонять один голый чай, без ничего. Сидят люди на пендюрочной хрущевской кухне, на улице мороз, а в желудке кипяток — и вроде не так холодно и тоскливо. Но самое большое счастье — ванна!

Когда в сорокаградусный мороз ты стоишь по часу на автобусной остановке почти в голой степи, где люди, как пингвины на льдине, сбиваются в кучу и от них идет пар, тебе кажется, что это конец. И тогда ты вспоминаешь, что дома есть ванна. Блажен и благословен звук набирающейся в ванну воды! Эти мощные, глубинные були звучат в моей памяти как гимн жизни.

Русалочье счастье

В Феодосии у нас был свой пляж — Чумка, наша земля и наше море. На городских пляжах мы не купались. Чумкой он назывался потому, что именно здесь в четырнадцатом веке началась эпидемия чумы и оттуда попала в Европу.

Чумка когда-то была лучшим пляжем в Феодосии: мелкая галька и прекрасное дно. Море всегда было чистым, а пейзаж живописным: горы, крепости, мостки, фелюги и байды, рыбаки, смолившие лодки и латавшие сети. Здесь мы пили сладковатый ледяной нарзан, выливавшийся прямо из железной трубы на землю и живыми ручьями впадавший в море. Здесь поднимались на горку и в неизменном восторге замирали в проеме Генуэзской стены, образовавшемся во время войны от попавшего в нее снаряда.

Внизу и дальше до горизонта лежало море. Огромное полотно морской глади, и на нем, в разных местах, большие корабли, серыми точками вцепившиеся в голубое шелковое пространство. Повисая над морем стрекозой, усердно кряхтел пограничный вертолет.

Бегали мы на море между делом — на полчаса, на сорок минут, но несколько раз в день. Оставив на берегу кучку белья, мы с разбегу бросались в море и сразу плыли к буйку, потом до изнеможения ныряли с больших камней, пока не закладывало уши и нос. Выйдя на берег, наперегонки бежали домой с полотенцами на плечах, зажав рукой подол платья и размахивая мокрыми купальниками (в мокром мама ходить не разрешала).

Городские пляжи гудели как ульи. Народ шел на берег толпами — с озабоченными лицами, как на работу. Отдыхающие брали с собой продукты, тряпки-подстилки и пытались занять лучшие места, на которых высиживали с утра до вечера, стараясь ни пяди не уступить ближнему. Толпа буквально жарилась на солнце, не желая упустить оплаченную драгоценную минуту. Женщины, добиваясь ровного местного загара, сбрасывали лямки лифчиков. Мужчины же, в свою очередь, закручивали плавки так ловко, что казалось, сзади их вообще нет, зато впереди появлялся мощный акулий плавник. Обратясь к солнцу лицом и широко разбросав руки, они дерзкими Икарами могли стоять часами.

По берегу ходили местные жители почтенного возраста, скороговоркой предлагая купить кукурузу или пирожки и поражая курортников своей сухой шоколадной кожей. Носили по пляжу копченую и вяленую рыбу. Все это лениво раскупалось, съедалось, а остатки культурно прикапывались под камни или в

песок. Туда же совались и окурки. Иногда, несмотря на кажущуюся чистоту пляжа, на ровном месте возникал одинокий использованный презерватив — все пытались чем-нибудь его от себя отбросить, а он опять оказывался под носом. В море же презервативы плавали косяками. Неискушенные приезжие девушки боялись их, принимая за медуз, а мы, местная шпана, неясно представляя себе их назначение, твердо знали, что это что-то запретное.

Помню ночное купание на городском пляже. Мы были маленькими и шли темным душным вечером с мамой и мамиными приятельницами по набережной. Кто-то предложил зайти на пляж. Зашли. Море замерло и стояло не шелохнувшись. Чуть покачиваясь, свисали звезды. На берегу никого не было. Мы сели на хорошо просоленные топчаны. Где-то в темноте слышались голоса и счастливый смех, с танцплощадки доносилась музыка. Не удержавшись от соблазна войти в воду, одна из женщин разделась догола и поплыла, хохоча, как русалка. Другие, недолго думая, последовали за ней. Мама осталась сторожить вещи, а нам с Нанкой разрешила окунуться у берега. Рядом, как мячи, плавали говорящие головы маминых подруг, но нам с Нанкой не было страшно. Вода была теплая, еще теплее, чем воздух. Я легла у берега и стала рассматривать свои руки под водой. Желто-зеленые пузырьки песчинками лунной пыли прилипали ко мне и не хотели от меня отрываться. Я водила руками вокруг себя, и светящиеся круги закручивались, как тончайшая паутина. И вдруг я ощутила такой восторг, такую нежность к жизни, такую радость моего присутствия в ней!

Одна за одной, как тридцать три богатыря, стали выходить из воды мамины подруги. Вытираться было нечем, и вода стекала с их крупных сосков косыми тонкими блестящими струйками. Они притаптывали песок своими почти мужскими ступнями и трясли намокшими концами волос, не торопясь одеваться. И всем нам было весело. Было ощущение победы и какого-то заговора. Русалочьего счастья!

Запахи

После шторма на берегу оставались кучи водорослей, и они начинали тошнотворно вонять. Длилось это пару дней, потом солнце их высушивало, вонь исчезала, и ветер гонял по берегу колючие травяные косы, парики, шиньоны. Рыбсовхоз тоже имел свое неповторимое зловоние, но тут уж никуда не денешься: рыбные отходы на солнце — любая парфюмерная фабрика может позавидовать устойчивости этого аромата.

В Феодосии и сегодня не решен вопрос с канализационными трубами — едкий запах туалета до сих пор появляется то здесь, то там. С непривычки начинаешь озираться, проверять подошвы обуви, пока не вспомнишь о трубах средневековой давности.

Радовали феодосийцев не эти ароматы — другие. Весной в санатории Министерства обороны пахло сиренью и жасмином. Похоже, что непроходимые заросли этих кустов остервенело обламывали по ночам отдыхающие военные, потому что в окнах женских комнат санатория маячили в трехлитровых банках пышные букеты. На центральных улицах красовались клумбы с розами. Приезжие, приседая на корточки, совали свои головы между бутонами для более эффектной фотографии.

Ближе к Городку пахло полынью и морем, смоленными байдами и мазутом.

Вхожу в квартиру. Тихо. Катька уже убежала в универ. Меня встречают Аля и Зина. Аля — совершенно белый ангорский кот, а Зина — совершенно черная, как антрацит, рядовая кошка. Они жмурятся — видно, спали — и противными хрипатыми голосами начинают говорить со мной: мол, что принесла, где шлялась, не забыла ли ты, что у тебя есть хвостатые дети, которые нуждаются в материнской ласке. Я отвечаю им: сначала дайте раздеться и пройти, не мешайтесь под ногами, я сама хочу есть не меньше вашего. Тогда Аля в сердцах дает по уху Зине, чтоб не лезла под руку. Зина не реагирует и делает вид, что Аля неудачно отогнал от нее муху. Нахмурившись, они садятся около миски, всем своим видом давая понять, что начались тяжелые для них дни. Отец ушел, матери они не нужны — хоть ложись да помирай с голоду. Я сыплю им корм, они начинают хрустеть, а я ставлю кофе…

На десерт у Зины цветы из горшков. «Зина! Ну-ка, перестань сейчас же! Что за девка такая?!» — кричу я. Ужасно шкодливая кошка. Стоит поставить букет в вазу, через минуту она уже около него и выбирает листочки повкуснее. А то еще и Аля к ней

присоседится, и к утру от букета — только жалкие стебли. Разбить вазу им тоже ничего не стоит. Причем знают, что я ругаю их за это, но хитро щурят глаза на меня: мол, кто тебе, дорогая наша мамуня, важнее: этот дохлый букет или мы, твои любимые хвостатые дети? А ведь и правда, любимые! Алю мы извлекли из мусоропровода, он висел там, каким-то образом зацепившись за трубу, и звал на помощь. Зину купили за пятьдесят рублей на рынке. Ее вытащили из мешка, уже приготовленного на выброс. То, что оба они живы, случайность. Жизнь вообще случайность…

На подоконник прилетел голубь. Аля и Зина тут же начинают делать вид, что лучше охотников, чем они, нет в мире. Ложатся на пузо и в таком полуприсяде ползут к добыче. Перед прыжком, дрожа всем телом от нетерпения, глохнут ко всему окружающему и, не вынеся напряжения, бросаются на стекло. Голубь, нехотя вспархивая, спокойно улетает, а мои хвостатые тут же оборачиваются ко мне: видала, мол, как надо? Учись, мамуня!

Конечно, кофе сбежал! Сколько ни смотри, сколько ни следи, обязательно проворонишь. Какой уютный запах у кофе… И у домашних пирогов… Мама не умела готовить. Если она что-то пекла, то всегда предупреждала: «Только осторожно, дети, берегите зубы! Я там пряники сделала, по-моему, их надо размачивать». Про свои сырники говорила: «Вы не думайте, это сырники на сковороде. Правда, они брюнетиками получились, но есть их можно, только подгоревшее срежьте». А вот картошку с луком жарила хорошо, крупной и поджаристой. Ели ее в Сибири часто. По дороге из магазина в сильные морозы она замерзала в авоське и получалась чуть сладковатой, но все равно вкусной.

Рыбу мама жарила тоже хорошо. А каши делала так густо, что можно было сломать ложку, выгребая ее из кастрюли. Борщ у нее был вкусный. Когда блюдо получалось, она спрашивала нас: «Я молодец?» «Еще какая! — хором отвечали мы и добавляли дурашливо: — Кто варил? Всегда вари такое!»

Сейчас мы с Нанкой говорим эти слова друг другу, только редко. Швеция и Россия рядом, но не на одной кухне. Ловлю себя на мысли, что живет человек свою жизнь, совершает какие-то поступки, чего-то в жизни добивается, но необходим ему тот один, у которого он может спросить: «Я молодец?»

Заглядываю в Катькину комнату. Ну что это? Конечно, она, как всегда, спешила и опять не убрала свои вещи в шкаф! А зачем? Мама уберет! Я, конечно, уберу, но совесть-то иметь надо? Здоровая дылда, а все никак не поймет, что ей давно пора самой

себя обслуживать. Всегда мы с ней на эту тему ссоримся. То посуда не вымыта, то вещи по всей комнате разбросаны. Сил моих нет! Мне, конечно, надо бы их не убирать и свалить все в кучу посередине комнаты, но я, как всегда, кладу их на место, а вечером прочту ей лекцию о том, что мать не вечная и ее надо беречь. Потом какое-то время Катька, само собой, будет следить за порядком, но пройдет дня два-три — и снова-здорово! Наверняка еще и сумку мою прихватила без разрешения. Так и есть!

Ну что тут сделаешь! Мою сумочку она брала уже в пять лет. Воображая себя дамой и делая надменное лицо, надевала мои туфли на каблуках и так разгуливала по всей квартире, держась за косяки. Было смешно наблюдать, как такая кроха пытается подражать женским хитростям.

Ткани

Мама любила одеваться. У нее была своя портниха. Иногда в магазине «Ткани» материал кроили, а шила она уже сама дома на старой ручной машинке «Зингер». Однажды ей в магазине понравился коричневый крепдешин с коралловыми тюльпанами по всему полю.

Покупая какую-то материю, она всегда начинала с ней играть: теребила, набрасывала себе на плечо, на руку, на грудь, отходила подальше от зеркала, резко приближала свое лицо к отражению, говорила на разные лады: «да», а вслед за тем — «нет». И тут же: «почему нет?» или «может быть». Я в это время залезала под стол закройщицы и рылась в коробке с лоскутами-обрезками, чтобы выбрать красивые для своих кукол. Я не брала все подряд, а тоже бубнила себе под нос: «да — нет — может быть — почему нет», но у меня решения принимались куда быстрее. Потом я вежливо спрашивала, можно ли взять эти лоскутики. Мне всегда разрешали, и я шла показывать их маме.

В этот раз мама мучила крепдешин дольше, чем обычно. К ней подошла закройщица: «Серафима Пантелеймоновна, какие сомнения?» Мама призналась, что материал очень нравится, но, похоже, он ей не по возрасту. Портниха маму переубедила. По дороге домой мама мне сказала: «Чтобы не быть смешной, нужно уметь посмотреть на себя со стороны. Или спросить того, кому доверяешь».

Как она любила это платье с тюльпанами! И, когда надевала его, всегда вспоминала, как мучилась перед покупкой.

Пепел роз

В отроческом возрасте мама чуть не умерла от сыпного тифа: лежала две недели без сознания. Рассказывала, что во время бреда была совершенно счастлива. Ей чудилось, что ей подарили всевозможные наряды и она вертелась в них перед зеркалом до головокружения. Очнувшись, она прошептала сухими губами: «Мама, где мои платья?» Бабушка не поняла, переспросила. Мама повторила и попросила их ей показать. Пришлось объяснять, что это был бред и никаких платьев нет. Мама заплакала и спросила еще раз: «И розового нет?» А дальше, как у Цветаевой: «Розового платья никто не подарил». Думаю, что желание мамы красиво одеваться родилось тогда, во время тифа.

Однажды мама решила купить мне пальто. Вообще-то я почти все донашивала за Нанкой, и новых вещей, приобретенных специально для меня, было довольно мало. А тут целое новое пальто! И мы поехали в центр, в «Детский мир». С нами был дядя Валя, приехавший на пару дней из Симферополя.

В магазине было жарко и много народу. Родители силой заставляли своих детей мерить кучу обуви: с металлом в голосе просили притоптывать, приседать, делать физические упражнения и больно жали пальцами на носки ботинок. Детские нервы не выдерживали, и то в одном, то в другом конце магазина начиналась истерика с последующим размеренным усердным шлепаньем по заднице и причитанием: «От, ты у меня допрыгался-доигрался!» В отделе одежды бледные дети вертелись у зеркал как неживые, подкручиваемые за плечи крепкими родительскими руками.

Когда наконец принималось решение сделать покупку, мать отходила в угол, лезла себе в потный лифчик, вытаскивала мокрые рыжие рубли, сто раз плевала себе в руки, отсчитывая одну и ту же сумму по нескольку раз и, как генерал, принявший одно-единственное верное решение, печатным шагом шла к кассе. Дети в это время в полуобморочном состоянии нащупывали друг друга глазами и, замерев, с пониманием и теплотой обменивались взглядами.

В отделе «пальто» было грустно. Все пальто были темного цвета. Мама подошла к продавщице и спросила: «Скажите, а для девочек уже ничего не шьют? Девочки нашей стране уже не нужны?» Продавщица обиженно сложила губы подковкой и куда-то ушла. Вернулась она быстро. В руке она держала на плечиках пальто небесной красоты розового цвета. «Цвет — пепел роз. Пальто импортное», — скороговоркой протрубила она. Когда она

назвала цену, по тому, как мама поправила очки, я поняла, что это счастье не мое. В другом конце магазина дядя Валя звал нас: «Сима, идите сюда! Вот какие надо покупать! В этом хоть в грязи валяйся! Куда она в том?» Мама тяжело задышала и тихо зацедила: «Ты, Валентин, не путай моих девочек с твоими мальчишками. Если моя дочь будет носить такое пальто, она никогда не поймет, что такое красота. — И победно закончила: — Сашулька, а я решила: розовое — твое пальто!» Дядя Валя обиделся и уехал в Симферополь, а мама буквально за день сшила мне из буклированной ткани белый берет с помпоном и шарфик. Когда я шла в музыкальную школу в своем пальто «пепел роз», в белом берете, сдвинутом набок, с черной нотной папочкой на веревках, люди восхищенно оборачивались на меня, а я им благосклонно улыбалась.

Сейчас буду варить борщ. Без мяса. Если правильно сделать заправку, никакого мяса не надо. А на второе — картошку! Жареная картошка — первое лекарство от стресса. Стресса, к счастью, нет, но есть картошка!

Открываю запотевшее окно. Сразу врывается шум проспекта. Где бы я ни была, мне всегда хочется вернуться в эту шумную пыльную Москву. Как странно, что теперь в провинции долго не могу — ритмы не те. Нужен шум, нужны выхлопные газы.

Обедать без Катьки не буду. Чего бы такого съесть? Лезу в холодильник и нахожу старый жесткий апельсин. Катька от него будет чесаться, а я съем…

Апельсин

Когда замерзает лужа — это счастье! Можно стучать по ней каблуком и откалывать кусочки льда, можно скользить по ней, можно ходить там, где лед совсем тонкий, и с хрустом проваливаться в пустые домики. Можно найти прозрачные места и любоваться тем, что спрятано подо льдом, можно найти чистенький кусочек льда и пососать. Главное, чтоб ее никто не посыпал золой или песком.

Однажды мне повезло: утром во дворе никого не было, и я стала царицей большой замерзшей лужи! Я уже почти научилась кататься на ногах, и тут пришла Людка. В руках у нее был оранжевый мячик. Она стояла и смотрела, как я бесстрашно скольжу одна по такой большой луже. «Это что у тебя?» — спросила я. «Апельсин, — ответила Людка, — это как мандарин, только большой». «А-а…» — протянула я, продолжая кататься и изо всех сил стараясь не обращать на Людку внимания. Говорить было не о чем. Людка стала двигаться к центру лужи, остановилась на ее середине, надкусила апельсин и стала его чистить, бросая кожуру на лед. Стало неудобно кататься. Лужа из большой стала совсем маленькой. Остро и бодряще запахло.

Людка жевала апельсин, громко высасывала из него сок и наблюдала за мной. Стало тоскливо и захотелось домой к маме. Я подошла к Людке и изо всех сил ее толкнула. Она упала, оранжевый мячик покатился, лужа треснула, и из нее хлынула черная грязь. Я испугалась, подняла апельсин и положила рядом с Людкой, сидевшей в самой грязи и истошно оравшей.

Дома мама удивилась, что я так мало погуляла. Я рассказала ей про апельсин. Когда тетя Глаша принесла нам Людкино пальто для стирки, мама меня совсем не ругала. Тогда мне показалось это странным…

Трубочка с кремом

Недалеко от базара, рядом с булочной, торговали на улице жареными пирожками. Четыре копейки — и он твой! Маленький, пышный, туго набитый сочным ливером! Если я из музыкалки шла с мамой, я начинала жаловаться на пустоту в желудке и легкое головокружение, это была хитрость, иначе мама не разрешила бы есть на улице. Объяснений тому находила много: руки немытые, есть на ходу вредно, и самое жалостное — мол, вдруг встретится нам голодный человек, а денег у него нет, и он будет смотреть, как ты ешь пирожок, и глотать слюнки, значит, надо и ему купить, а на всех денег не хватит, и так далее. Ох уж эти взрослые, как у них все сложно!

Купив все-таки мне два пирожка, мы доходили до укромной скамейки, и только там воспитанная девочка, да и то в редких случаях, могла себе позволить их съесть.

И вот мы идем из музыкалки с мамой, а пирожков нет. Лысый лоток! Тоска сразу наваливается, голова моя повисает набок, все мне немило. Мы заходим в булочную, мама покупает неинтересный хлеб, а я вдруг вижу трубочку с кремом. Вафельная! С розовым кремом! И всего-то: двадцать две копеечки! Я сама от себя не ожидала, но вдруг мне стало позарез нужно получить эту трубочку. «Мама, купи, купи, мама, мама, ты мне никогда не покупала такой трубочки, а теперь купи, мама, я больше никогда в жизни ничего не попрошу, только попробую и все, что же ты, мама, мне не покупаешь трубочки с кремом, может, ты, мама, меня не любишь?!» — все это я шипела на одном дыхании, как молитву, делая страшные глаза и цепляясь за ее пальто. Мама стряхнула мои руки и спокойно сказала: «Баловство». Какая-то тетка, проходя мимо мамы, ехидно улыбнулась: «Какая капризная девочка!» — и ласково посмотрела на меня. Мы вышли на улицу, и я сказала маме, глотая слезы: «Ты жадная! Жадная! Жад-на-я!!!»

Домой шли молча, не прикасаясь друг к другу, словно чужие. Дома мама села на стул, поставила меня рядом и сказала: «Хорошо, давай сделаем так: в следующий раз я куплю тебе вместо пирожков трубочку, договорились?» Наверное, она ждала, что я что-то пойму, попрошу у нее прощения, но я просто кивнула.

Когда настал этот следующий раз, пирожки были. Мы прошли мимо. Зашли в булочную. Тетка в короне на лбу умильно протянула мне трубочку в папиросной бумаге. Мы пошли в сквер и сели на скамейку. Я откусила. Трубочка была сухая, и с нее

посыпались крошки. Прожевала. Хм… ничего особенного. Кроме того, трубочка зияла самой что ни на есть откровенной пустотой, и только в конце ее оставалось немного розового крема. Я зачем-то дунула в нее, и крем осторожно спрыгнул мне на пальто. Я охнула, сжала трубочку, трубочка треснула и брызнула мелкими крошками на асфальт. «Вот это да!» — восхищенно сказала мама. Я заплакала и бросилась ей на шею. Я сидела у мамы на руках как маленькая, и нам было так хорошо, так спокойно и счастливо, как раньше. А вокруг нас прыгали воробьи и радовались моей злосчастной трубочке.

Конфеты

К сладкому мы с Нанкой не были приучены. Конфет в нашем доме никогда не водилось. Правда, в Новый год подарки от Деда Мороза мы получали. В кульках — из прозрачной шуршащей или плотной бумаги, — на которых были нарисованы Дед Мороз со Снегурочкой, плотно лежали конфеты, несколько грецких орехов, два мандарина и пачка печенья. На дне каталась россыпь разноцветных драже. Были ириски, сосалки, карамельки с повидлом. На деле оказывалось, что конфет шоколадных — с гулькин нос. В основном — с белой или розовой начинкой. «Белочка», «Мишка косолапый», «Мишка на Севере» чувствовали себя одиноко в этой компании. Для нас же такой кулек был роскошью.

Мне было лет семь, когда мама отправила нас с Нанкой в летний лагерь «Лесная поляна». Лагерь был очень хороший, но мы затосковали смертно. Встречаясь с Нанкой украдкой где-то в закутке, я плакала у нее на плече и по пальцам считала, сколько еще нам осталось отдыхать. Однажды был какой-то праздник, всем детям выдали по шоколадной конфете. Мы с Нанкой их не съели, а положили в конверт и отослали домой со слезной припиской: «Дорогая мамулечка, скоро мы наконец-то приедем домой. А конфеты — это тебе гостинцы от нас».

Мама, конечно, никаких конфет не получила, но поругала за то, что мы такие темные и в конверты пихаем разные разности.

Приблизительно в этом возрасте мы научились делать конфеты сами. Все очень просто: размешиваешь сахар с водой до густой жижи, наливаешь в алюминиевую миску и ставишь на керогаз. Сахар начинает плавиться, пузыриться, сначала желтеть, потом коричневеть, значит — готово. Миска остывает, конфета отдирается ножом и кладется в рот большим куском. Кусок растягивает щеки, из неплотно закрытого рта норовит вылиться слюна, ты подхватываешь ртом воздух и прикрываешь глаза.

Однажды, когда Нанка отдирала конфету от миски, нож сорвался и воткнулся ей в ладонь, да так глубоко, что с другой стороны кисти почти показалось острие лезвия. Я чуть не упала в обморок, но Нанка закричала на меня: «Тащи быстрей зеленку!» Вынув нож из раны, она раскрыла ее двумя пальцами и приказала: «Лей!» Я налила. Потом мы туго все забинтовали. Как ни странно, мама нас похвалила в этот раз. Вообще она нас часто ругала, когда мы ждали от нее похвалы, и, наоборот, хвалила, когда мы боялись, что оторвет голову.

Врубаю телевизор. Когда я что-то делаю на кухне, люблю, чтобы в доме были какие-то звуки. Вроде я не одна. Иногда, если повезет, можно напасть на интересную передачу, но чаще, не найдя ничего приличного, раздражаюсь и выключаю.

Телик

Когда мы (позже многих) приобрели черно-белый телевизор «Березка-2», началась новая жизнь. В газете с программами передач мы подчеркивали все, что хотели посмотреть на неделе. В то время телевидение только набирало обороты. В Феодосии было всего два канала, но рычажок, которым надо было каналы переключать, быстро у всех ломался. Поэтому рядом с телевизором в каждой семье лежали пассатижи. К тому же нужно было еще следить за трансформатором, вернее за его стрелкой, все время норовившей отклониться от красной черты, это означало, что телевизор может перегореть. Трансформатор стоял на полу, и мы по очереди падали на пол, чтобы проверить стрелку. Эти внезапные припадания к полу напоминали горячие мусульманские молитвы.

Какие-то бесконечные пленумы и заседания со столь же нескончаемыми аплодисментами заполоняли эфир. Пели бесчисленные, очень идейные хоры, чуть веселей, но и навязчивей, плясали свои пляски неутомимые ансамбли, в которых солисты под победное уханье массовки взмывали в шпагате в воздух, а солистки подолгу крутились как веретено. Время от времени на экране высвечивалась рамка, что означало перерыв в вещании. Часто в телевизоре случались помехи, шип, кадр прыгал. Жители Городка объясняли это плохим напряжением в сети, но с таким объяснением мирились не все и, заметив на экране сбой, шарахали по своему любимцу кулаком — иногда помогало.

Когда по телевизору шел футбол или хоккей, те семьи, в которых водились кормильцы, были вынуждены наблюдать внезапные вспышки гнева или радости своих, в быту мало разговорчивых, мужчин. «Что ты, сука, не играешь? Играй, я тебе сказал! Кому ты дал пас, я тебя спрашиваю, звездочет херов?! На! На! На, сука! Не можешь играть?! Не играй, я тебе сказал!» При таких властных комментариях, которые спокойно проникали за пределы открытых окон, соседи начинали узнавать друг друга лучше.

Нам мама разрешала смотреть только одну передачу в день. Допустим, мы смотрели «Клуб кинопутешествий», и сразу после передачи телевизор выключался. Нужно было делать намеченные на сегодня дела. Случалось, что мама, приходя с работы, хоть и заставала нас за уроками, но, положив руку на корпус телевизора, ощущала характерное тепло, свойственное хорошо поработавшему мотору. В таких случаях она выдергивала шнур

антенны, отсоединяла трансформатор, все это прятала в шкафу, а телевизор накрывала куском гобелена и говорила, что теперь это просто мебель. Правда, и такая мера не всегда помогала, мы быстро научились все подключать и только точнее вычисляли время маминого возвращения.

Если шел какой-нибудь фильм, улица вымирала. Сразу после его окончания народ высыпал за калитки, и начиналось обсуждение. Мы с Нанкой стали собирать открытки с артистами, мама не мешала и даже давала деньги на наше увлечение. Этими фотографиями мы обменивались с подружками — нужно было не прогадать и за одну фотокарточку суметь выцыганить две.

Почти взрослая жизнь

Попав в Сибирь, мы с Надей почувствовали огромную разницу между мегаполисом и провинцией. С одной стороны — открылись широкие горизонты, с другой — в этих горизонтах легко можно было затеряться. Нужны были новые авторитеты, которые не дали бы нам сгинуть в большом потоке информации и всевозможных соблазнов. Конечно, воспитание, любовь мамы и собственный опыт никуда не делись, но пришло время новых вливаний и впечатлений, которые бы питали нас и служили ориентирами в теперь уже почти взрослой жизни.

Со своими педагогами по музыке мы говорили обо всем, не только об искусстве. В любую погоду шли с ними пешком по нескольку километров и говорили, говорили без умолку. Потом, оставшись вдвоем, мы с Нанкой продолжали рассуждать, спорить, радоваться взаимному пониманию. И торопились к маме, чтобы посвятить ее в наши открытия. Мама окрылялась, глядя на наше взросление. Все реже она стала запираться в ванной и выходить оттуда с опухшими глазами. Потихоньку начала притупляться и утихать наша тоска по Крыму.

Через довольно короткое время, вкусив общения со старшими товарищами, я поняла, что больше не ощущаю себя ребенком. Авторитет взрослого человека в его общепринятом смысле для меня пошатнулся. Я стала осознавать себя не просто чувствующим существом, но человеком мыслящим. Мама подливала масла в огонь, провоцируя нас с Нанкой на отстаивание своих позиций в частых спорах на всевозможные темы.

Однажды мама проснулась от звонка в дверь в два часа ночи. Это были соседи снизу, жаловавшиеся на перестановку мебели в нашей квартире в столь поздний час. Дело в том, что на ночь глядя мы с Нанкой стали обсуждать философский вопрос, который оказался нам не по силам: можно ли уничтожить половину человечества ради жизни другой. К согласию мы не пришли и стали драться, требуя друг от друга капитуляции в споре. Чтобы не разбудить маму, боролись тихо, изредка шепча друг другу в ухо: «Сдаешься?» Но когда кто-то из нас уперся ногами в стену, диван поехал по полу и, наконец натужно крякнув, разломился в днище. Вот тут-то и возникли на пороге соседи. Извинившись перед ними, мама после их ухода сказала: «Не хватает аргументов? Учитесь говорить, пока не поубивали друг друга. Вы же девочки, а не солдафоны!»

Не одна вещь была порвана на наших юных телах в запале

споров, но, слава богу, мы все-таки вышли из нашего периода взросления целыми и невредимыми.

«Берлин»

Никогда в своей жизни я так крепко не спала, как под грохот нашего старого пианино.

Черный «Берлин» занимал особое место в нашей жизни. В какой-то степени он выполнял роль отца. Дисциплина, усидчивость, упорство и даже честность — все эти качества были воспитаны им, всепонимающим, но строгим существом. Мама перед ним трепетала. К нему нельзя было подойти с грязными руками, небрежно открыть или закрыть крышку, садиться в плохом настроении, срывая на нем зло.

Первые мои уроки музыки проходили с мамой. Я сидела на стуле, обитом холодным черным дерматином, мои ноги не болтались на весу, а упирались в маленькую скамеечку, на пюпитре стояли ноты с нарисованными на них поющими детьми и веселыми животными. Тогда мне было все интересно.

Позже, когда картинки закончились, я училась в музыкалке и уже должна была самостоятельно разбирать какую-нибудь пьеску, стало скучнее. Когда я нажимала не на те клавиши, мама внезапно оказывалась рядом и твердо говорила одну и ту же фразу: «Нет там такого!» Пальцы мои начинали панически метаться по клавиатуре в поисках верного созвучия, но тут мама почти выкрикивала: «Пальцы!», а это значило, что надо было взять аккорд именно теми пальцами, которые прописаны в тексте, а не другими. Это было для меня настоящим мучением. Хотелось «шлындать, гоцать с босотой», а не сидеть за инструментом, когда с улицы слышатся голоса подруг.

Приходилось идти на хитрости и обман. Больше всего я ненавидела писать диктанты по сольфеджио, задаваемые на лето. Мама играла мне маленькую мелодию из учебника, а я должна была на слух записать ее нотами. Слух мой был не развит, диктанты я писала плохо и долго, зато фантазия работала хорошо. Одним летом, в день, когда мамы не было дома, я списала следующие по списку диктанты (благо она играла их по порядку) себе в нотную тетрадь, потом стерла написанное резинкой так, чтобы на бумаге остался едва заметный отпечаток. Его-то я при маме и обводила старательно карандашом. Мама все лето радовалась моему чуткому уху и готовности заниматься. С началом учебного года обман был раскрыт.

Однажды в порыве ненависти я стукнула по клавишам кулаком, и мама закрыла пианино на ключ. После слез, чистосердечных раскаяний и обещаний учиться прилежно «Берлин» снова стал доступен моим корявым пальцам. Нанка же,

в отличие от меня, занималась остервенело, но без хитростей тоже не обходилось. Как и многие способные к музыке дети, она могла, играя гаммы или этюды, ставить на пюпитр интересную книгу и читать.

В Новосибирске пианино наше стало рассыпаться, не выдержало переезда и резкого перепада температур. Мы вызвали настройщика, тот почти разобрал его, и мы впервые узнали истинный возраст «кормильца». Ему было более ста лет!

Перед Нанкиным поступлением в консерваторию нам пришлось купить новый инструмент. За «Берлином» пришли чужие люди, промышлявшие антиквариатом. Просунув под него брезентовые ремни, они хором рявкнули и с трудом оторвали его от пола. Покачиваясь, оскалив в улыбке под приоткрытой крышкой свои старые желтые зубы, «Берлин» стал удаляться от нас навсегда. В подъезде, на каждом повороте лестничного марша, под сопение носильщиков, он издавал странные, незнакомые нам звуки. Мама, прикусив кулак, ушла в спальню.

Мы распахнули окно. «Берлин» поставили в открытый кузов большой машины, и он гордо ждал, пока его привяжут. Потом, задевая распускающиеся ветки молодых черемух, грузовик тихо уехал. Я подошла к маме и вложила ей в руку маленький поржавевший ключик. В последний момент я решила оставить его на память.

«Немного солнца в холодной воде»

Оперный театр в Новосибирске стал для нас одним из самых родных зданий в этом еще чужом для нас городе. Необъятного размера серое сооружение с шатровым куполом и сценой, на которую могут выезжать танки. В театре находился и уютный сине-белый зал филармонии. За дирижерским пультом — блестящий Арнольд Кац. Здесь, в двенадцать лет впервые слушая Шестую симфонию Чайковского, я плакала, еще не ясно понимая отчего.

Кинотеатр «Победа». Перед сеансом заходили в кафетерий «Золотой колос», выпивали по стакану кофе, съедали ромовую бабу и с блаженством в желудке шли поглощать «важнейшее из искусств». В широком холле-фойе играл ансамбль или оркестр, пела какая-нибудь певичка и всегда было празднично. В зале мы сидели держась за руки и сильно стискивали друг другу запястья, если что-то особенно нравилось.

В Кинотеатре повторного фильма мы пересмотрели всю зарубежную и советскую классику. Здесь же страстно полюбили итальянское кино. В «Пионере» я часто отсиживалась, сбегая с уроков музыки, на какое-то время забывая о действительности и о расплате за прогулы. А в «Маяковском» впервые смотрела «Зеркало» и в растерянности наблюдала, как народ толпами уходит из зала.

И еще одно любимое место для нас с Нанкой — Новосибирская галерея. Мы бегали почти на все новые выставки. Сарьян! В нем было столько солнца, он был такой желто-оранжево-красный, такой жизнеутверждающий! Это была почти Феодосия! И я под видом посещения музыкальной школы, которую ненавидела (впрочем, как и общеобразовательную), шла в очередной раз теперь уже на выставку, а не в кино. Я переходила от картины к картине, и мне было так легко на душе, так светло, что я забывала про все. Про свои валенки разной формы и размера, которые мама когда-то купила, не разглядев сослепу их «непарность», и которые так и не удалось обменять. Про то, что из-за этого я должна стоять у доски, пряча одну ногу за другую… Про все наши трудности… Про учебу, про наше с Нанкой портившееся зрение, про мамину работу…

Забывала про все и мысленно переносилась в теплую Феодосию с ее запахами акации, шумом моря, туда, где было так привычно, просто и где мы чувствовали себя уверенно и спокойно.

Айвазовский

Детский сад мой (когда-то здесь был роддом, где и я и Надя родились) находился прямо напротив дома Айвазовского, и мама часто водила нас в галерею. Перед входом лежали два огромных белых мраморных льва, спины их были отполированы временем и детьми, гроздьями на них висевшими. Потом, повзрослев, мы уже не садились на них, а только украдкой совали руки в открытые пасти.

В галерее же было всегда прохладно, гулко. Мама разговаривала с какими-то людьми (там у нее было много знакомых), успевая при этом строго следить, чтобы мы ступали неслышно, говорили шепотом и ничего не трогали. Мы с Нанкой делали серьезные лица, но, когда никого не было рядом, потихоньку прикасались пальцем к картинам, пробуя воду — настоящая ли. Когда выходили на улицу, шум города сразу врывался в уши, а глаза начинало ломить от слепящего солнца.

Всегда испытывала и испытываю чувство собственности к этому дому и его картинам. С самого детства и до сих пор «Среди волн» — работа для меня особенная, лучшая, потому что моя, наша.

Мама хотела уехать в среднюю полосу России, поближе к Москве, где жила я, чтобы можно было видеться чаще. В маленький купеческий городок, который можно было обойти пешком, с видом на реку. Чтобы стояли маленькие старые домики, из труб которых зимой поднимается дым, чтобы светились желтым окна, а по узким улочкам спокойно бродили бы кошки.

Два года до смерти она с Нанкой прожила в Муроме и была счастлива.

После смерти мамы я вдруг поняла, что главное в жизни — не цель, а путь к цели. Я иду. Тебе не должно быть стыдно за меня, мама!

Море волнуется, раз!

В детстве была игра, известная многим поколениям: «море волнуется, раз!» Она была не похожа на другие — нежная, романтичная и тихая. В этой игре в нас открывалось что-то новое, заставлявшее заглянуть куда-то внутрь себя. Ведущий говорил: «Море волнуется, раз! Море волнуется, два! Море волнуется, три!» Мы при этом изображали море — сначала спокойное, потом постепенно все более волнующееся и наконец — бушующую стихию. А после слов — «морская фигура, на месте замри!» — застывали в какой-нибудь причудливой позе. Когда ведущий, дотрагиваясь до тебя, приказывал «отомри», ты должен был начать «жить» и убедить других в том, что, замерев, ты просто прервался на мгновение, а до этого делал какое-то важное дело.

Странно. Мы были довольно циничные дети: мы нюхали, щупали, пробовали на вкус жизнь, которая гудела вокруг нас, всасывала в свой водоворот, а потом сплевывала, как остатки пищи. Но «море волнуется, раз!»… Иногда мне кажется, что я продолжаю играть в эту игру и все жду, когда ведущий крикнет мне: «Отомри…»

Моей дочери двадцать два года. Она родилась, выросла и живет в Москве. Немного походив перед самой школой в детский сад, окончила школу, а сейчас — университет. Всё, как у всех.

Она делится со мной своими победами, несчастьями, влюбленностями, мыслями. Я знаю и люблю ее друзей. Они привязаны ко мне, и мы иногда секретничаем с ними на кухне, как это делала наша мама в свое время с нашими друзьями. И все-таки у нее другие отношения со мной, чем были у нас с нашей мамой. Между Катей и мной почти нет дистанции. Не знаю, хуже это или лучше. Так сложилось.

«Тусоваться» в компании моих подруг Катька обожает. Веселит их своими пародиями на однокурсников, пытается соответствовать нашему уровню в «умных» разговорах. Мои «девоньки» искренне рады такому юному вливанию в наши ряды и хохочут, забывая про свои давления и больные спины. Катька чувствует, что ее всячески балуют вниманием и любовью, и отвечает им взаимностью.

Часто задумываюсь, видит ли она мир таким, каким вижу его я? Ей никогда не приходилось выживать, она не росла рядом с постоянно изменчивым морем у подножия почти лысых гор. На нее не дули шквальные ветры. В ее окружении не было шумной оравы сверстников, похожих на беспризорников, и отсутствовали

трудности быта. Были и есть совсем иные развлечения, обязанности, привязанности и интересы, чем у меня в ее годы.

Сможет ли она, такая хрупкая, выстоять, сохранить себя, столкнувшись с настоящими испытаниями, предательствами, которые неизбежно сопровождают любую человеческую жизнь? Будет ли противостоять им или поплывет по течению? Что предпочтет, когда придет время выбирать? Невозможно матери всю жизнь быть рядом со своим чадом, но мысленно я всегда держу ее за руку.

Моя, для меня всегда маленькая, дочь, ничего и никого никогда не бойся! Я — с тобой. Всегда. А со мной — моя мама. А с ней — ее. Мы держим друг друга за руку. Нас много! Ты не одна.

* * *

Хочу выразить благодарность моим друзьям: Наташе Купцовой, Екатерине Романовне Дмитриевской, Маше Хализевой, Маше Львовой и Евгению Халдину.

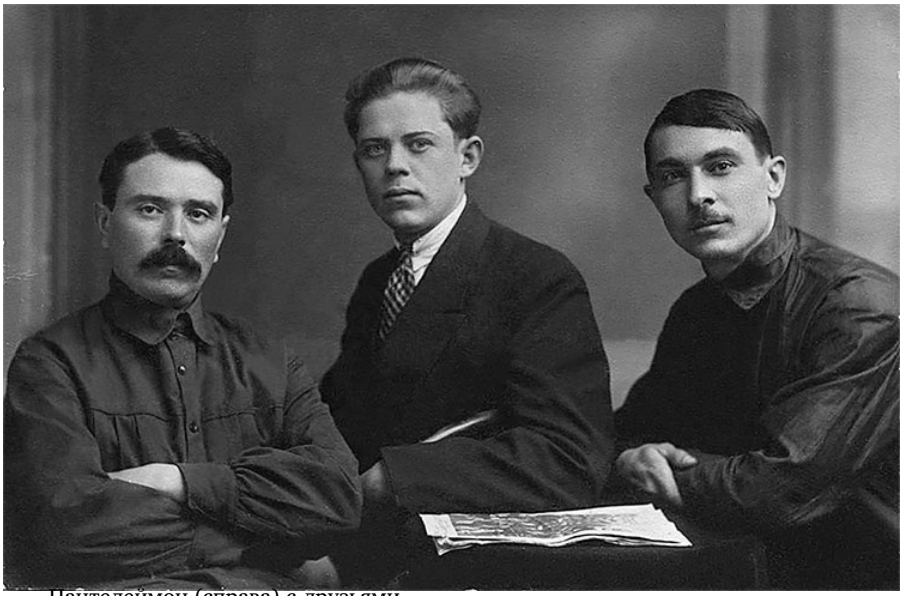
Особая благодарность Татьяне Гнедовской, Элле Митиной и Ирине Холмогоровой, ставшей моим первым редактором.

Очень признательна Александру Турову и Сергею Крюкову за любезно предоставленные фотографии.

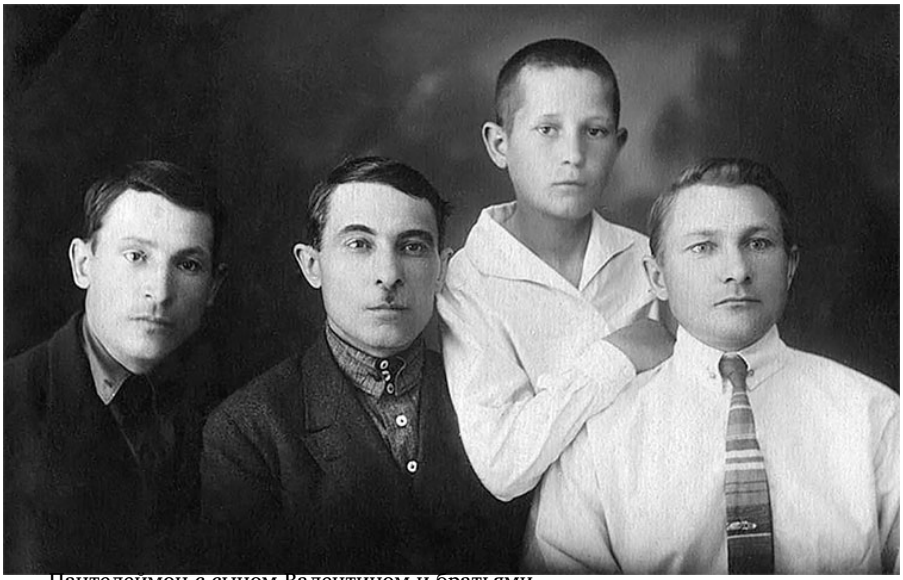
Фото

Родители мамы: Пантелеймон Иванович Чекалин (в годы Первой мировой войны) и Татьяна Ивановна Маньшина (ей 15 лет).

Пантелеймон. 1930 г.



Пантелеймон (справа) с друзьями.

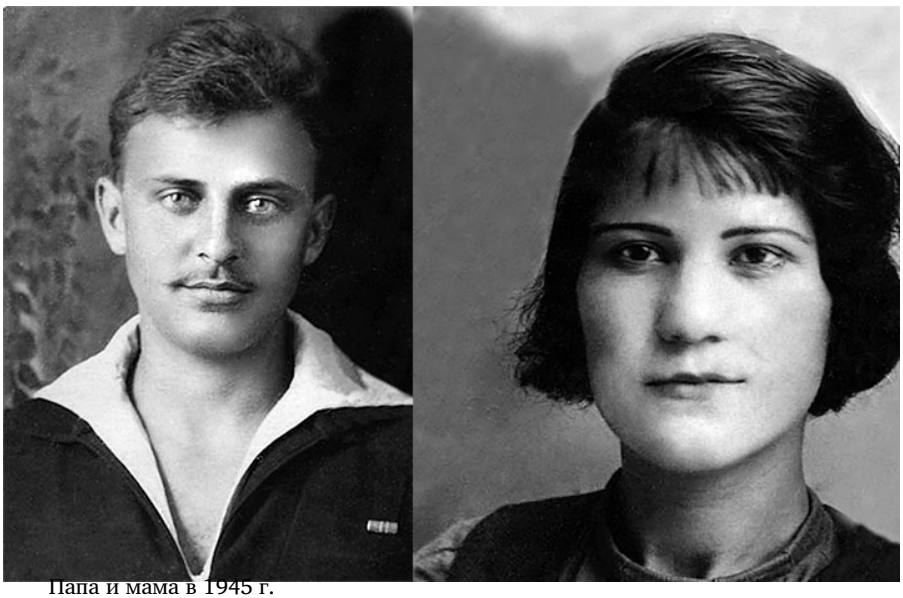


Пантелеймон с сыном Валентином и братьями.

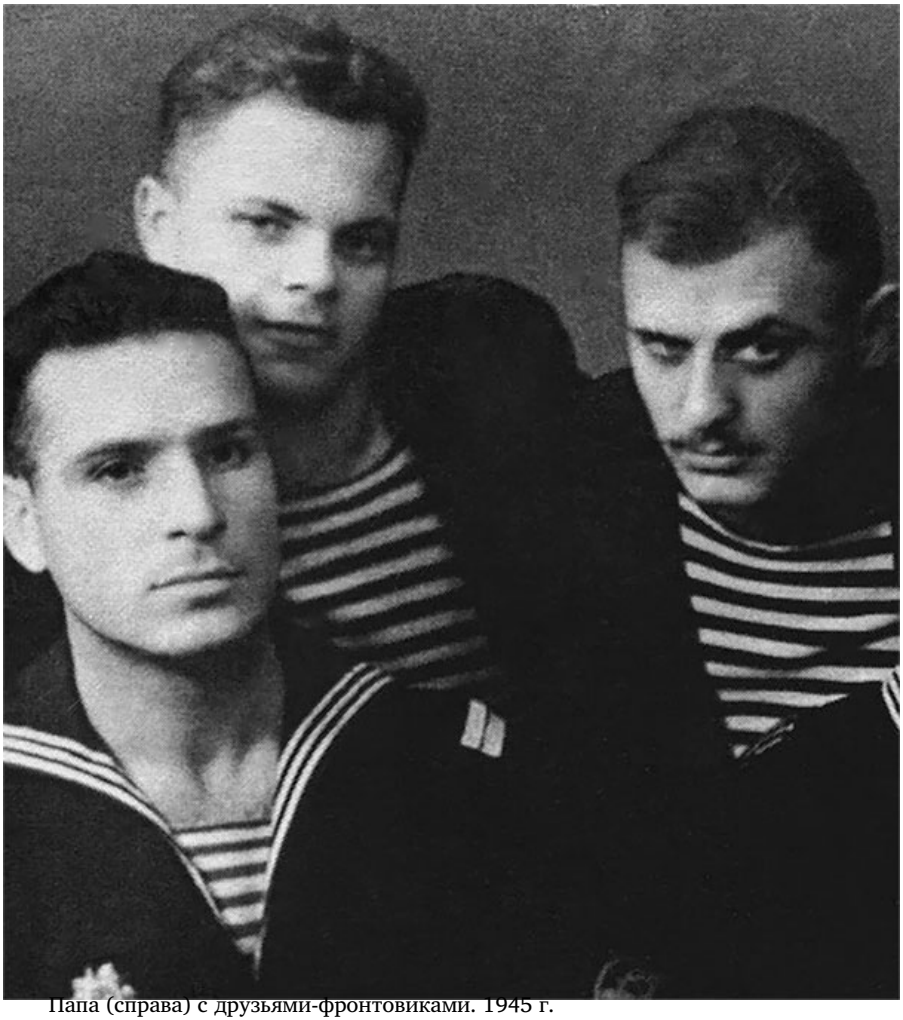
Мама (справа), ее брат Валя и соседская девочка. 1930 г.

Бабушка Таня со своими детьми.

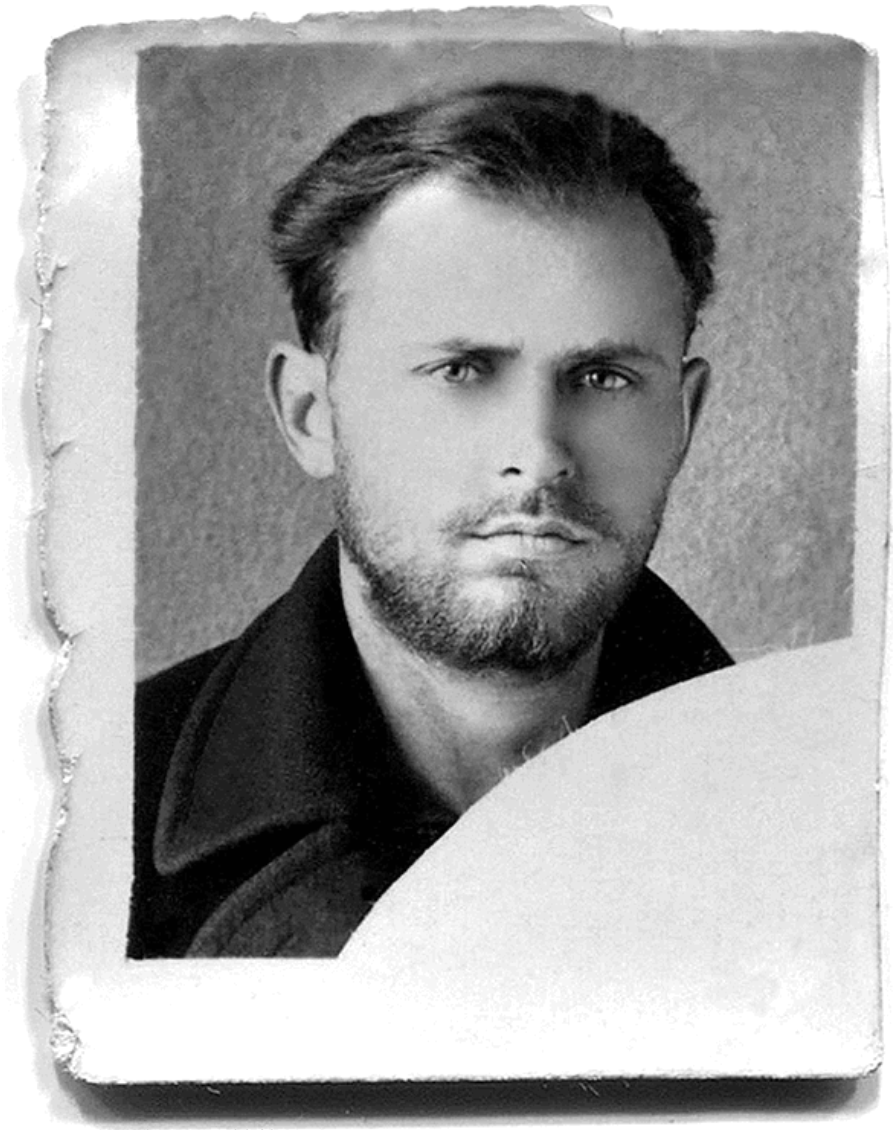
Мой папа с родителями. 1935 г.



Папа и мама в 1945 г.



Папа (справа) с друзьями-фронтовиками. 1945 г.



Папа на Колыме. 1949 г.

Мама (сидит первая слева) с сотрудниками детского сада. 1953 г.

Мама (слева) с подругой и Валентином. 1953 г.

Новогодний утренник в детском саду. Мама в центре. 1954 г.

Мама, папа и Нанка. 1957 г.

Папа, мама и Нанка. Бульвар на улице Горького, бывшей Итальянской. 1958 г.

Первая дворовая компания Нанки (она вторая слева в первом ряду). 1959 г.

Нанка и бабушка Александра. 1960 г. В этом году родилась я.

Мы с Нанкой в год смерти папы.

Мама после смерти нашего отца.

Сестры. 1962 г.

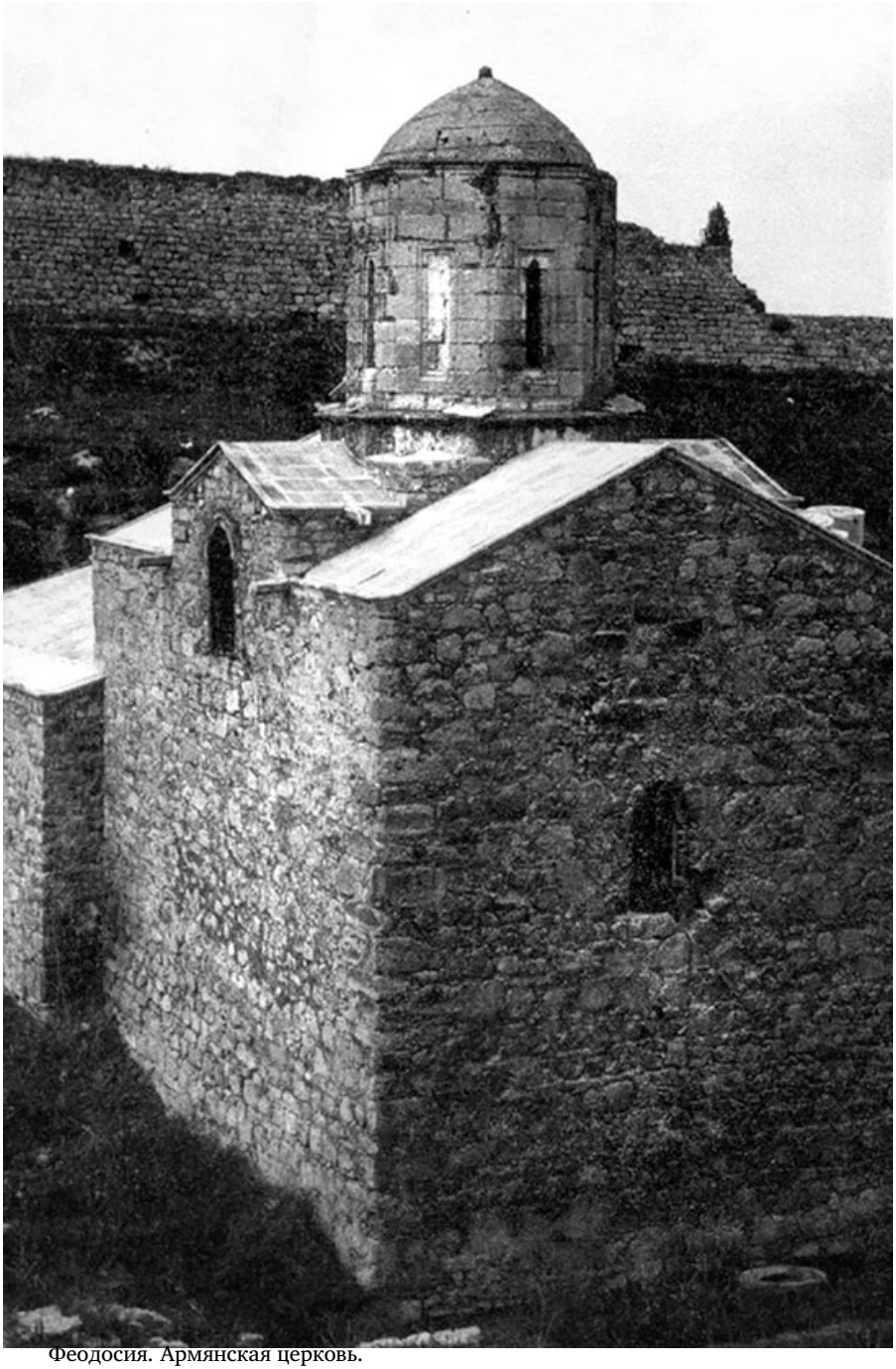
Ясли. Я в верхнем ряду, 3-я справа, стою около няни.

Детский сад. Я — Лисичка (вторая слева во втором ряду).

Нанке 6 лет.

Феодосийский порт зимой. *Фото Александра Турова.*

Феодосия. Вид на балку, Городок и Горбу. В центре видна армянская церковь. *Фото Александра Турова.*

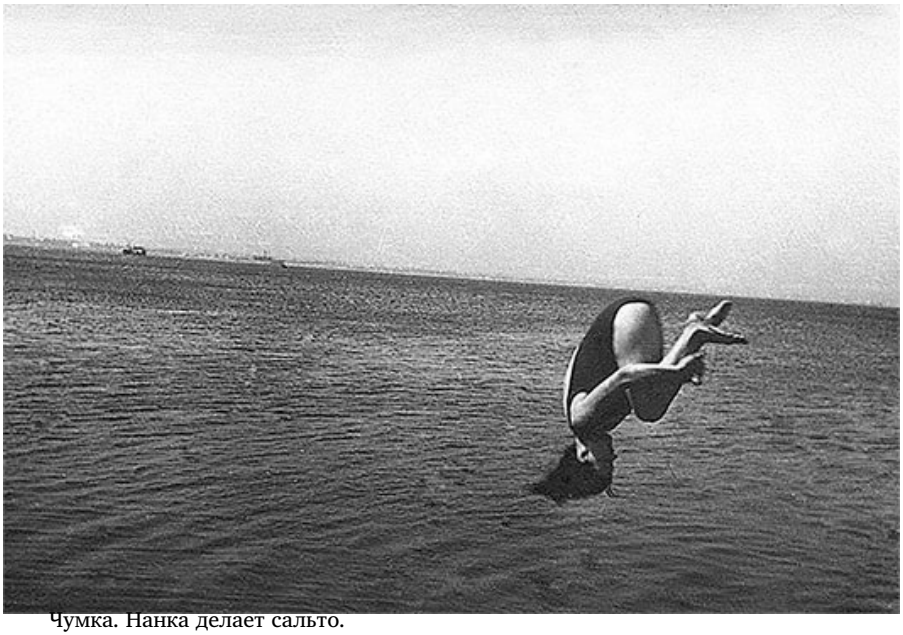


Феодосия. Армянская церковь.

Карантин, Чумка. Нанка, Сережа с Вовкой и я. 1963 г.

Я в детском саду. 1965 г.

Нанка, моя подруга и я. 1965 г.



Чумка. Нанка делает сальто.

Нанка за роялем в Феодосийской музыкальной школе. 1972 г.

С подругами на ступенях школы.

Карантин — район, в котором мы жили. Генуэзские развалины.
Фото Сергея Крюкова.

В нашем палисаднике с соседкой.
На руках у нас Маняша со своими котятами. 1972 г.

Наши кошки: Юська и Маняша.

Нанке 14 лет.

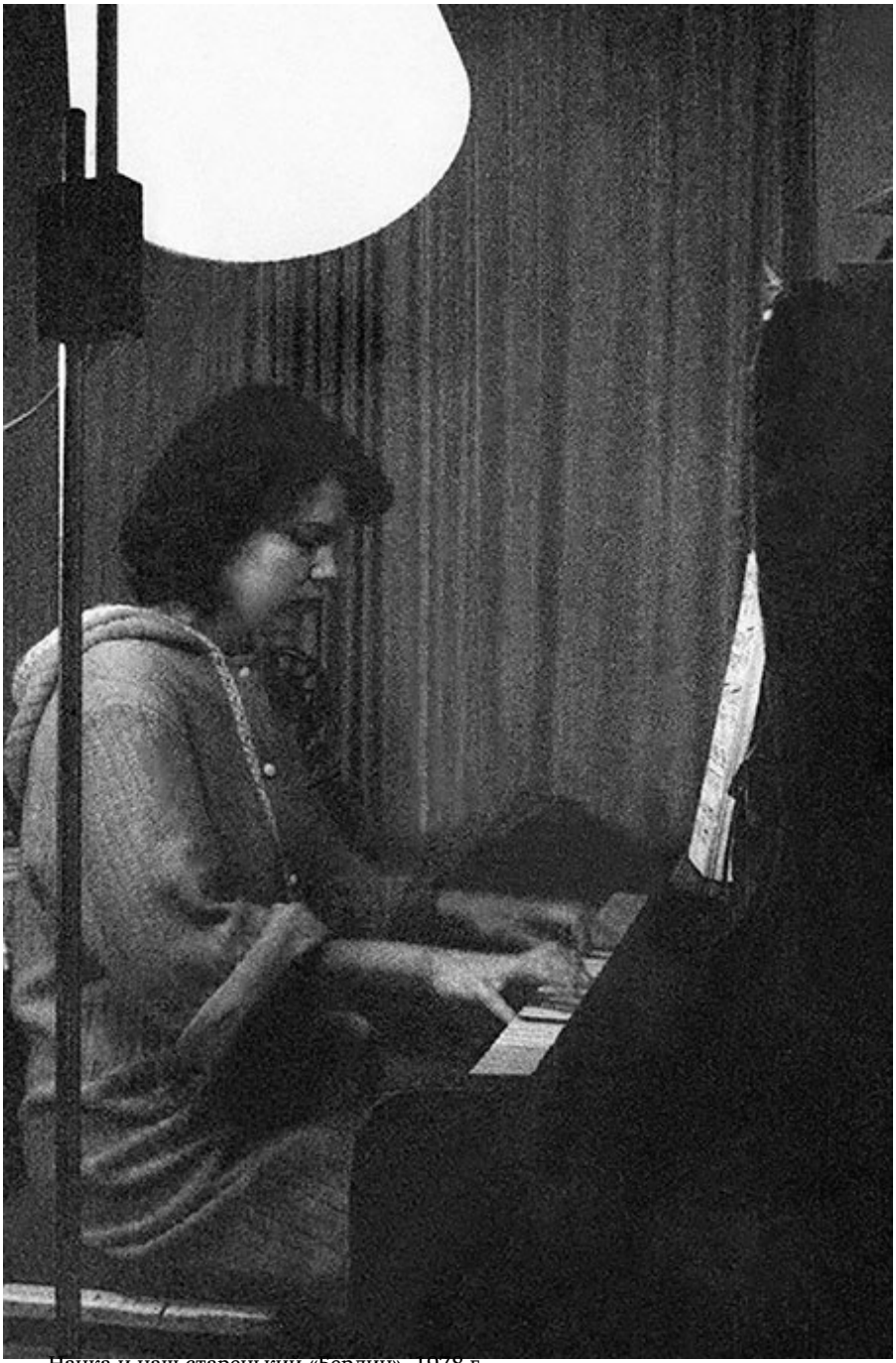
Мне 12 лет.
Первое фото в Новосибирске.

Я — актриса Театра миниатюр.

Крайний справа Владимир Прокопьевич Фокин, руководитель театра.

Играю Нанкину пьесу «Сестры». 1974 г.

Светлана Фокина, мой друг и педагог по музыке, и мы с Нанкой. 1975 г.



Нанка и наш старенький «Берлин». 1978 г.

Я в 1980 г.

Семья. 1984 г.

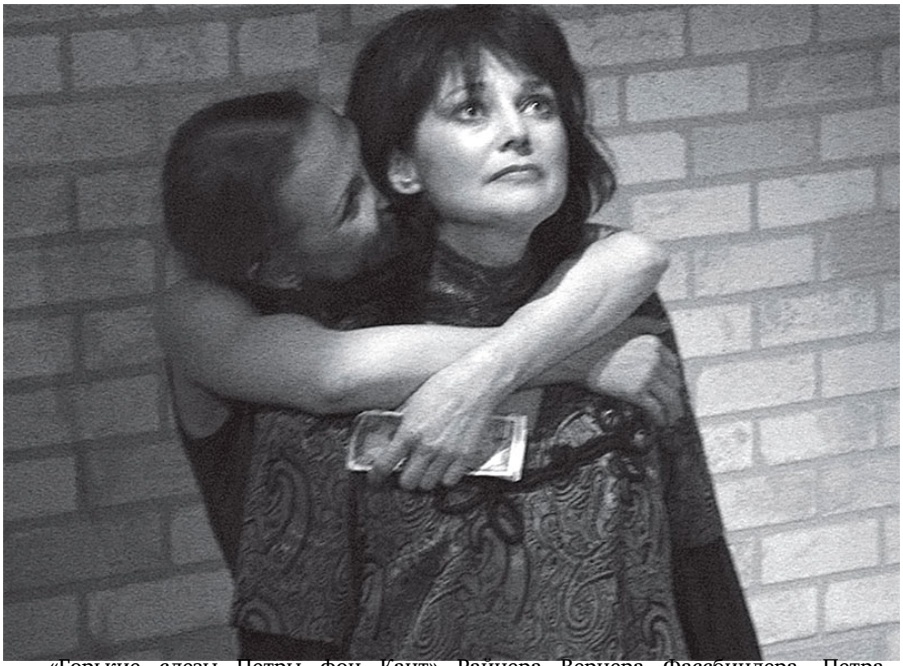
Наде 30 лет.

Нанка с мужем. Швеция.

Мне 30 лет.

«Женщина-дьявол» Проспера Мериме. Александра Коротаева, Алексей Протасов, Александр Евлахишвили. Постановка Сергея Евлахишвили. Москва, Творческие мастерские, 1988 г.

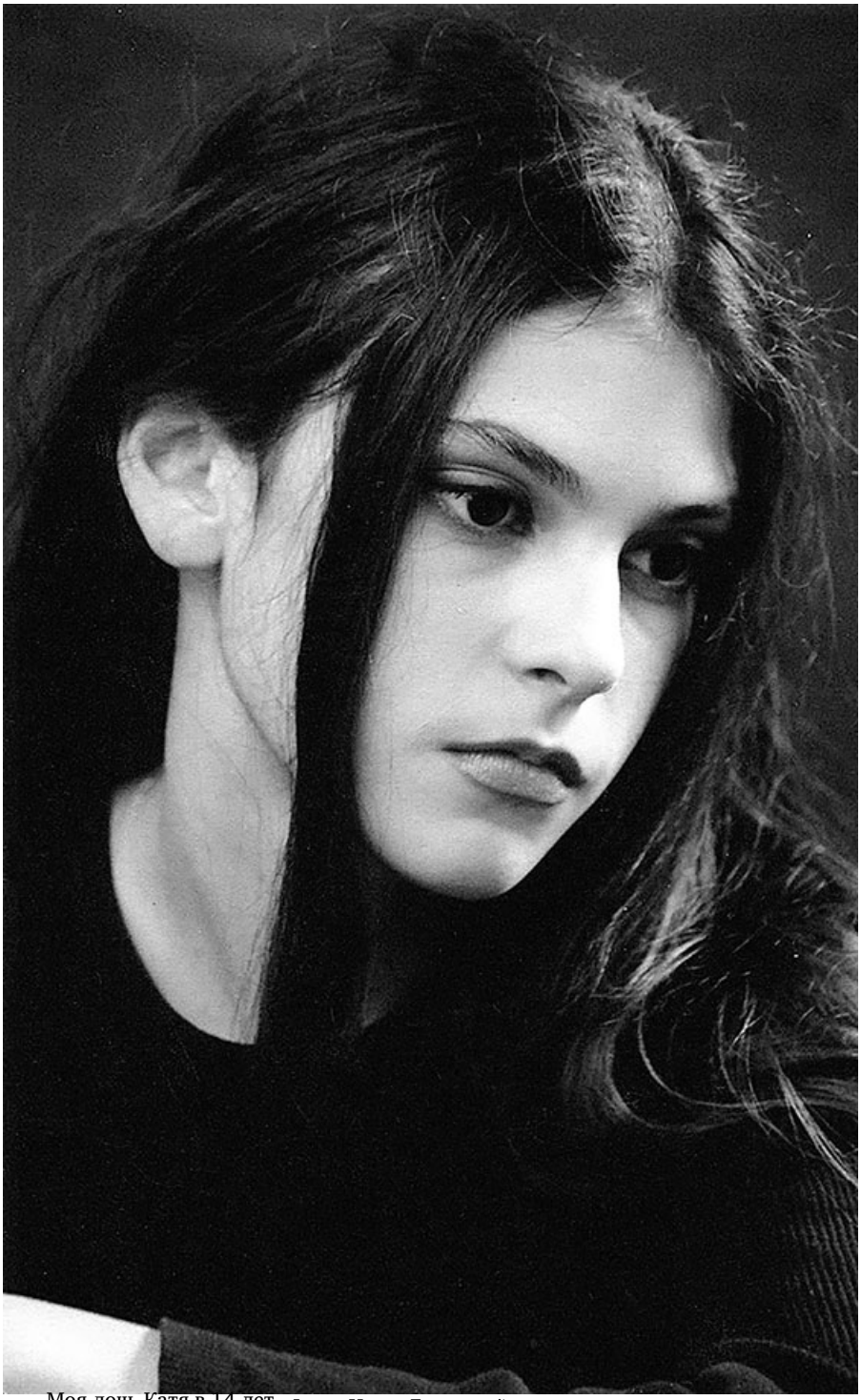
«Пеликан» Августа Стриндберга. Мать — Александра Коротаева, Аксель — Сергей Мигович. Постановка Леонида Краснова. Москва, «Театральный особнякъ», 2002 г.



«Горькие слезы Петры фон Кант» Райнера Вернера Фассбиндера. Петра — Александра Коротаева, Карин — Елена Пурис. Постановка Леонида Краснова. Москва, «Театральный особнякъ», 2003 г.

«Козий остров» Уго Бетти. Агата — Александра Коротаева, Анжело — Сергей

Мигович. Постановка Леонида Краснова. Москва, «Театральный особняк», 2008 г.



Моя дочь Катя в 14 лет. *Фото Игоря Бернштейна.*

Кормлю синицу в Ботаническом саду.